

Евгений Гнедин

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

С предисловием Андрея Сахарова

CHALIDZE PUBL. NEW YORK 1982

ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

Евгений Гнедин

**ВЫХОД
ИЗ
ЛАБИРИНТА**

С предисловием Андрея Сахарова

CHALIDZE PUBL. NEW YORK 1982

Evgeny Gnedin

A WAY OUT OF THE LABYRINTH

Copyright 1982 by Chalidze Publications

**Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018**

Manufactured in USA

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	5
От автора.	11
В тюремном тупике.	13
Мысль становится действием.	13
В лабиринте средств и целей.	29
По ту сторону отчаяния.	63
Второе рождение горбуна.	63
Из туннеля в туннель — к просвету.	87
Суд. Лагерь. Ссылка. Страна.	87
На пороге.	115

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1977 году фонд имени Герцена в Амстердаме опубликовал воспоминания Е.А. Гнедина "Катастрофа и второе рождение". По неизвестным, вернее всего, случайным причинам в книгу не вошли заключительные главы авторской рукописи, составлявшие очень важную ее часть. Дополнив и развив неопубликованные главы, автор превратил их в самостоятельное произведение, которое он озаглавил "Выход из лабиринта". Я считаю, что обе книги Гнедина должны привлечь читателя, интересующегося основными проблемами нашей эпохи.

В своих мемуарах Евгений Александрович Гнедин описывает свою жизнь, при всей своей необычности отразившую судьбу его поколения. В начале пути Гнедин — революционер по убеждению и идеалист в жизни, без малейших сомнений отдающий Советскому государству большое зарубежное наследство. Он видный деятель иностранной политики СССР, один из главных помощников Литвинова. В 1939 году Гнедин арестован, его избивают в кабинете Берии, затем в особорежимной Сухановской тюрьме, но он не оговаривает ни других, ни себя.

Два года строжайшей изоляции, стандартно-беззаконный суд, общие работы в лагере, ссылка, после смерти Сталина — реабилитация (запоздалая, благодаря вмешательству все еще влиятельного Молотова, и как у всех реабилитированных жертв сталинских репрессий, оставляющая человека слегка второсортным и уязвимым в постсталинском государстве); затем — годы литературной и журналистской работы, скромная пенсия. Таковы внешние рамки судьбы автора, рассказанной с многими подробностями, иногда потрясающими. В эти рамки вмещается напряженная внутренняя жизнь, поддерживающая Гнедина в самые страшные дни на Лубянке и в особо-режимной Сухановской тюрьме (в связи с которой Гнедин вспоминает любимую Сталиным зловещую поговорку-директиву: "Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма").

Главное содержание книги — мучительные сомнения и искания автора — этические, философские, политические и социально-экономические, начавшиеся, в отличие от многих других людей со сходной с ним судьбой, еще во время деятельного служения государству, и обретенное им в конце концов душевное равновесие на новой философски глубокой и человеческой основе. Но и сейчас Гнедин пишет: "Кризис моего мировоззрения еще окончательно не разрешен". И действительно, в книге нет (к счастью!) окончательных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — страстный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены средств и целей, приведшей нашу страну к

ужасам недавнего прошлого и к бюрократической зловещей для всего мира стагнации в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все негативные стороны нашей действительности, отличает выстраданный личный и исторический оптимизм.

В книге много мыслей, глубоких авторских замечаний и наблюдений. Я не буду пересказывать концепции автора, она не вполне совпадает с моей, и я боюсь ее исказить, приведу лишь выборочно несколько цитат.

”В призыве (Солженицына) жить не по лжи главное — это сама мысль о необходимости отличать добро от зла”. Я думаю, что против этой мысли не будет возражать и Солженицын, также как и многие его доброжелательные оппоненты.

”Историческим преступлением партийной бюрократии под сталинским главенством была ликвидация НЭПа, то есть уничтожение предпосылок благоприятного развития страны в условиях смешанной экономики”.

”Идея строить социализм в полуаграрной стране послужила основанием для массовых репрессий против крестьянства”.

”Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустраним тот плодотворный революционный новаторский дух, который одновременно есть и дух трагедии”.

Вне контекста эта последняя цитата вызвала бы у меня некоторую внутреннюю насторожен-

ность своей красивой неоднозначностью, но весь контекст книги показывает, что не революционное насилие, не политический авантюризм и цинизм, а именно новаторский, и в этом смысле революционный дух перемен в обществе и в жизни — главное для Гнедина.

Мемуары Гнедина — это эмоциональная исповедь человека, прошедшего большой путь духовной эволюции. Важное место в ней занимают стихи ("Глаза горбуна": "Мой горб — мой долг... и только боль былой потери в глазах тоской отражена"; "Второе рождение горбуна" — отсюда и название книги? — "себя не потерять в пути — вот все, к чему меня обяжет мой долг, пылающий в груди").

Центральный аллегорический образ в книге — образ лабиринта. Это не только тюремные коридоры, в которых страдают и не находят выхода несчастные люди, но и образ трагического блуждания мысли, воплощение "иронии истории". Для Гнедина лабиринт эпохи, погубивший миллионы, губящий саму мечту о новом, более справедливом обществе, угрожающий будущему всего человечества, создается перерождением средств и последующей подменой целей. Вместо революционного идеализма появляется террор (подмена средств). Вместо великой мечты приходит корыстолюбивый бюрократизм (подмена целей). Этот основной этический тезис Гнедина бесспорен и глубок, как бы не относиться к самым исходным целям — считать ли их благородной утопией или гениальным проник-

новением в суть проблем, стоящих перед человечеством или опасным заблуждением.

В центре внимания Гнедина -- социологический и психологический анализ характера человека его поколения ("красного", "белого") "эпохальный характер" (по использованному в мемуарах выражению Герцена) с его бескорыстной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к перерождению, которое приводит в "лабиринт".

Из моего краткого изложения, я надеюсь, ясна общечеловеческая значимость волнующих Гнедина проблем, необычность и вместе с тем типичность рассказанной им судьбы.

Издание мемуаров Гнедина в полном виде на русском и иностранных языках представляется мне важным делом.

29 ноября 1978 года
Москва

Андрей Сахаров

ОТ АВТОРА

В 1977 году фонд им. Герцена в Амстердаме опубликовал мои воспоминания: "Катастрофа и второе рождение". Я глубоко благодарен незнакомым мне руководителям Фонда имени Герцена.

В книгу вошла та часть моих "Записок", где говорится о снятии М.М. Литвинова с поста наркома, об отмене цензуры телеграмм иностранных корреспондентов, об обстоятельствах моего ареста в мае 1939 года. Рассказано о первом годе следствия, когда от меня тщетно добивались ложных показаний о несовершенных преступлениях.

Я не знаю, располагало ли издательство заключительной частью "Записок"; во всяком случае она не опубликована, читателю осталось неизвестным, чем закончилось следствие, каков был "суд" и каков приговор, какова была дальнейшая судьба автора. Осталось неясным, что автор подразумевал под таким огромным понятием, как "Второе рождение". Этому посвящена заключительная часть "Записок", рассказ о продуманном и пережитом в течение второго года следствия и пребывания в секретной тюрьме с июня 1940 года по июль 1941 года.

В заключительной части раздвинуты рамки повествования и яснее освещены перемены в мировосприятии автора, сложившегося в двадцатых годах. Эту переоценку ценностей я имел

в виду, говоря о "втором рождении" и включив это понятие в заголовок книги.

Под этим углом зрения я дополнил неопубликованный вариант заключительных глав моих "Записок". Мне хотелось бы, чтобы читатель воспринял эту их часть как рассказ о различных "моделях" выхода из лабиринта, обмана и самообмана.

В ТЮРЕМНОМ ТУПИКЕ

Мысль становится действием

”Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма”. Эту восточную поговорку любил повторять не кто иной как Сталин, который охотно напоминал, что тюрьма подобна ядовитой змее и, по самой своей сути, губительна для человека. В ином случае это — не тюрьма. О ядовитых речах Сталина мне рассказал в тюремной камере бывший партийный деятель. В устах диктатора афоризм имел значение директивы. Смысл сталинских слов был тот, что власти обязаны быть жестокими, тюрьма *должна* быть застенком, пребывание в тюрьмах и лагерях *должно* быть мучительным.

Сухановская особорежимная тюрьма представляла собой изощренное, продуманное Берией осуществление жестоких требований Сталина. Я пробыл в ней 13 месяцев, начиная с июня 1940 года. Сухановская тюрьма, очевидно, имела двоякое назначение: застенок для пыток и расстрелов, расположенный в стороне, за городом, и изолированное, засекреченное место заключения для ”консервации” жертв беззакония.

В Сухановской тюрьме имелись подвалы и камеры, где применялась всяческая ”техника”

(знаю по рассказам), и была пустая церковь, где избивали по старинке (мой случай). Иногда подследственных привозили в Суханово ненадолго, только для соответствующей "обработки", как выражались следователи; иной раз заключенному только показывали Суханово, чтобы застрашать, и снова увозили в обычную тюрьму. Часто использовали застенки и для пыток, и для дальнейшей строгой изоляции там же в Суханове, как это случилось со мной. Бывало и так, что привезенных в Сухановскую тюрьму заключенных сразу помещали в условия строгого режима на месяц, а то и на год, если не больше.

Назову известные мне имена сухановских узников: Г. А. Астахов (советский дипломат, мой добрый знакомый); Ермил Бобоченко, бывший секретарь Мурманского обкома (я встречался с ним в лагере, аппаратчик, интриган, стал в лагере мелким спекулянтом и доносчиком); Чингис Ильдрым, видный хозяйственный работник, друг Кирова (мой первый сосед в Суханове)*; инженер из Баку Дорожилов (мой недолгий сосед, приятный человек); бывший советский консул на Востоке Аapresов; бывший работник Путиловского завода инженер-изобретатель Васильев (он и в Суханове из хлеба конструировал модель машины); несколько бакинцев, фамилии которых я не знаю; Булатов, бывший зав. орготделом ЦК КПСС; Ф. Крейнин, работник НКВД (provokator, о котором расскажу), и, на-

* См. книгу "Катастрофа и второе рождение".

конец, Н.И. Ежов. Это просто перечень имен, ставших мне известными, по этому перечню нельзя судить о составе и облике тогдашних заключенных в Суханове.

Подследственных отправляли в особорежимную тюрьму для строгой изоляции по различным причинам. Одна из них: подследственный еще мог понадобиться в качестве лжесвидетеля. (Такую роль играл, например, Н.И. Ежов. Бывший палач после своего ареста помогал новым палачам конструировать лживые обвинения. Именно в Сухановской тюрьме Ежов на очных ставках в грубо циничной форме давал лживые показания, губившие еще не сломленных людей.

В Сухановскую тюрьму сажали и если дело "не получалось" (мой случай). Самая "консервация" тоже была пыткой, цель которой заключалась в том, чтобы несчастный, когда решат оформить окончание законсервированного дела, был предельно оторван от действительности, а то и вовсе потерял способность правильно реагировать на происходящее, тем более — сопротивляться. В некоторых случаях, когда начальство не приняло решения по затянувшемуся делу, заключенного направляли в особорежимную тюрьму (с ведома того же начальства) просто потому, что на эту тюрьму не распространялись правила и сроки, имевшие некоторое значение в других следственных тюрьмах; судьба невинного человека, конечно, не занимала руководителей "следствия": выживет — его счастье, не выживет — не велика важность.

В стандартной сухановской камере (были и "не стандартные" — подвальные и "церковные") потолок не протекал, не промерзали стены, как во многих тогдашних тюрьмах. То была чистая, аккуратно сделанная клетка, где заточенная птица ударялась о прутья, даже не пытаясь взлететь, а едва лишь расправив крылья. Койку на день привинчивали к стене, и это лишало клетку даже подобия жилья. К тому же, было трудно протискиваться между привинченными к полу предметами, и это создавало ощущение какой-то дополнительной замкнутости, скованности. Мне пришлось побывать в такой камере, где ночью и при откинутой койке заключенному приходилось нелегко: койка опускалась не от боковой стены с опорой на табурет, а от торцевой, той, где двери, и повисала вдоль боковой стены, так что приходилось спать в наклонном положении, причем наклон был в сторону головы.

В Суханове змеиная злоба тюремщиков выражалась в пытке изоляцией и теснотой, в назойливом надзоре. Насколько я мог уловить, один надзиратель обслуживал три камеры. Глазок открывался чуть ли не ежеминутно. Стоило сделать малейшее движение, чтобы загремел замок и надзиратель вошел, озирая заключенного и камеру.

Прогулок не было все тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев я пробыл взаперти. Правда, баня была во дворе. Но, пока не зажили рубцы от побоев, желанная баня причиняла страдания: в тесной каморке меня ставили под душ,

и вода хлестала по израненному телу. И все же выход из камеры был выходом в мир. Летом я жадно, с упоением, вдыхал пьянящий душистый воздух; "одуряющий запах полыни стал запахом жизни с тех пор, как поспешно меня пронесли в темноте через двор". Но зимой пронзительный морозный воздух обжигал легкие, привыкшие к духоте камеры.

"Законсервированных" заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избийений меня вызвал младший лейтенант Горбунов, видимо, только затем, чтобы посмотреть на меня. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур. Капитан ни словом не обмолвился о моем деле, а я — насколько помню — не стал спрашивать. Происходило это глубокой ночью. Видимо, я счел бессмысленным задавать вопросы, вероятно, я думал лишь об одном — не угрожают ли новые пытки, а возможно, я просто был пассивен после многих лет изоляции.

Однажды следователь Гарбузов, вызвав меня, завел мирный разговор, пытаясь уловить, представляю ли я после двух лет тюрьмы, что происходит в мире. Тогда я удивил его, изложив два варианта возможного (но еще неизвестного мне тогда) наступления Германии на Западе; лейтенант невольно информировал меня о подлинном ходе дел, воскликнув по поводу одного из моих прогнозов: "Так это же правильно!" Моя последняя встреча с Гарбузовым происходила уже поздней весной 1941 года, незадолго до суда (чего я, конечно, не знал). На этот раз следователь был со

мной неожиданно груб, по поводу какой-то моей реплики поднял крик, явно рассчитывая, что в соседних помещениях его коллеги услышат, как грозно он со мной разговаривает. Я сказал лейтенанту, что он впервые груб со мной и это не способствует моему уважению. Он замолчал и расстался со мной, вероятно, уже зная, что мы никогда больше не встретимся, даже если я останусь жив.

То, что заключенного месяцами не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, ввиду обычного характера этих "допросов". Но когда при строгой изоляции отсутствовало общение даже со следователем, заключенный вовсе терял представление о ходе времени и о перспективе собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.

За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингисом Ильдымом) трое соседей, из них двое — провокаторы.

Довольно скоро после пыток ко мне посадили бывшего статистика бакинского горсовета (забыл фамилию этого субъекта). Сосед должен был мне продемонстрировать, что разумно и выгодно давать показания. Он имел право лежать днем на койке, ему давали книги (Горького), а будущее его не пугало: он подал следователю докладную записку о том, как наладить учет и статистику в ГУЛаг'е, предложил свои услуги и надеялся получить спокойную работу. Пока этот статистик-

энтузиаст находился в моей камере, отведенное мне пространство свелось к двум-трем квадратным метрам; мне было запрещено переходить на его сторону в нашей клетке. Таким образом я во все не мог передвигаться, если же я, разговаривая с ним (как-никак — собеседник), садился на край его койки, надзиратель немедленно требовал, чтобы я вернулся к своему табурету. Когда однажды я не подчинился, пришел начальник тюрьмы, он угрожал отправить меня в карцер и меня же запугивал тем, что по моей вине закроют койку соседа.

От кратковременного пребывания в моей камере статистика была и польза: он научил меня делать иголку из спички. Сам он ловко орудовал такой иглой, вызывая недоумение тюремщика; моему привилегированному соседу делать замечания надзиратель не должен был, но он неоднократно обращался ко мне с вопросом: "Чем вы шьете?"

Статистика убрали из камеры в тот самый день, когда я на допросе у следователя отозвался пренебрежительно о своем соседе. Его исчезновение мне было приятно.

Загрустил я зимой, когда другого моего недолгого соседа, инженера Дорожилова, увели в "никуда". Дорожилов попал сначала в тюрьму в Баку вместе с большой группой работников нефтяной промышленности. Потом его препроводили в Москву в Суханово. Его, как и меня, редко вызывали на допрос. Это был по природе деятельный, жизнелюбивый человек, не лишенный чувства юмора. Наше положение он оценивал трезвее,

чем я, боялся худшего и с трудом, отчасти с моей помощью, преодолевал уныние и даже страх.

Общение с соседями было каждый раз коротким эпизодом. Потом усиливалось чувство полной изоляции. Помню, в тоске я говорил себе: "Вот было бы счастье хотя бы утром и вечером переброситься с кем-нибудь несколькими словами". Иной раз мне удавалось, став на табурет и подтянувшись на руках, взглянуть в щель между полуоткрытыми форточками во внутренней и наружной раме. Я видел, как вдалеке, в роще, под дождем торопливо шли люди. Я думал: а ведь они заняты житейскими делами и даже не понимают, какие они счастливые. Оказавшись после суда в июле 1941 года в Бутырках, я, желая приглядеться к тюрьме, согласился идти убирать камеры (уже началась эвакуация тюрем); войдя в пустую камеру, где еще стояли железные койки, валялись шахматы и кипы книг, я, недавний сухановский узник, подумал с горькой иронией, но и с завистью: "Вот жили люди!"

Обычно в Сухановской тюрьме царила глубокая, гнетущая тишина. Но иногда ее нарушали страшные вопли. Либо тащили по коридору избитого страдальца, либо кричал обезумевший от страха человек. Одно время в соседней камере сидел сумасшедший. Монотонно и громко он выкрикивал одни и те же слова. Однажды, когда тюремщики были заняты моим разбушевавшимся соседом, я воспользовался этим, чтобы выглянуть в щель между форточками. Была весна, и под окнами тюремного флигеля какая-то незадачливая воспитательница детского сада выстроила

ребят для гимнастики. Я разглядывал детишек, которых не видел больше года, а рядом за стеной вопил мой обезумевший товарищ по несчастью: "Позовите моего брата!"

* * *

Мне еще придется писать о том, как жизнь начинается "по ту сторону отчаянья". Я приблизился к этому состоянию, когда отверг и соблазны уступок палачам, и соблазн самоубийства. Но то была лишь первая стадия возвращения к жизни. Ведь надо было жить. А именно этой возможности я был лишен в тюрьме. Сухановская камера была таким местом, где влияние крайней формы изоляции, "сенсорной изоляции", представляло наибольшую опасность для заключенного. На моей психике это сказалось не к концу пребывания в Суханове (тогда я уже жил интенсивной внутренней жизнью), а в первый период. В мыслях я уже перевалил через хребет отчаяния, но на деле, ослабленный физическими страданиями, лишенный книг и прогулок, я в мертвой тишине голубой темницы погрузился в призрачное бытие.

Лишенный впечатлений — зрительных, слуховых, не говоря уже о пище для ума, — я по временам переставал быть самим собой. Так, по крайней мере, я теперь оцениваю те мнимые способы преодоления душной пустоты, к которым я прибег в сухановской камере осенью 1940 года. Я стал "дрессировать мух".

Снова, как тогда, когда я в предыдущей книге описывал пытки и когда поведал о своих колебаниях в тот период "следствия с пристрастием", я теперь испытываю внутреннее сопротивление и

неловкость. Но, если бы я не стал говорить о неприятных сторонах и последствиях тюремного заключения и лагеря, то мое повествование в целом не было бы правдивым. Ведь я рассказываю о том, как я не сдался, говорю об условиях спасения личности, и такой рассказ может быть поучительным — именно если я скажу о слабости и смятении узника.

Итак, я "дрессировал мух". Попросту говоря, я выбирал из множества мух одну, отрывал крыло и наблюдал, как она прыгает, реагирует на шорохи, отыскивает "колодец" — бумажку, смоченную водой. Замечу, что в этом занятии не было какой-либо склонности к мучительству. Мне и в детстве были чужды, неприятны игры, причинявшие животным боль, мне чужд жестокий охотничий инстинкт. Может быть, признаком "нарушения нормы" как раз и было то, что в сухановской одиночке я относился к "дрессировке мух" как к безобидному, чистому эксперименту.

Спустя тридцать пять лет я могу восстановить в памяти подробности "дрессировки мух"; это свидетельствует о том, какое место эта странная игра занимала в психике заключенного. Он сам был похож на муху с оторванным крылом. Его именно так и дрессировали, чтобы он оставался жив, но не мог нормально передвигаться и при малейшем шорохе замирал.

Примерно тогда, когда прекратились мои "игры с мухами", я осознал, что надо употребить чрезвычайные усилия, чтобы избежать деградации. Некоторое время я колебался, размышляя, что важнее — прогулки или книги? Я принял

правильное решение и объявил голодовку, требуя, чтобы мне дали книги. Уже через день явился начальник тюрьмы. Это был тот самый тюремщик, который, когда меня били по пяткам, предложил "снять носочки". Однажды у меня был конфликт с начальником тюрьмы. Войдя в камеру, он заговорил со мной угрожающе; я заявил, что вызвал его не для того, чтобы слушать грубости, и потребовал, чтобы он ушел. Редкий случай: заключенный "выгнал" из камеры начальника тюрьмы. Как бы то ни было, мне не пришлось долго голодать, вскоре мне стали приносить книги в камеру. Более того, нашелся такой мягко-сердечный надзиратель, который выслушивал мои заказы и систематически приносил мне том за томом сочинения Гегеля, книги Александра Блока и Герцена. Я с благодарностью вспоминаю этого пожилого рыжевато-го человека, небольшого роста, с печальным веснушчатом лицом.

Любопытно — я до сих пор помню, что именно я почерпнул из книг Блока или Герцена, из каких именно произведений, но я совершенно не помню, что дал мне в тюрьме Гегель (кроме знаний, конечно). Мой друг, глубоко мыслящий человек, Михаил Яковлевич Гефтер, заметил по поводу этого моего наблюдения, что в огромную замкнутую в себе систему Гегеля есть много входов, но из нее нет реальных выходов в жизнь. Это — остроумное замечание, верное хотя бы потому, что я как раз в тюрьме страстно искал в книгах "выход", эффективный ответ на коренные вопросы бытия и цели.

Когда я получил возможность читать книги, да еще по своему выбору, когда стал размышлять над философскими и поэтическими произведениями, тогда началась жизнь "по ту сторону отчаянья". Тогда я возобновил и мысленные записи в моем лирическом дневнике.

Когда я говорю здесь о "тюремных буднях", я имею в виду не только прозябание, грозящее вырождением, но и трудную "будничную работу" мысли: поиски выходов. Утешение приносили и мнимые выходы, особенно, если казалось, что они дают возможность заглянуть куда-то вглубь или ввысь.

Тот же мой друг, принадлежащий к более молодому поколению, послушав мои рассказы о тюремных размышлениях, заметил, что в описываемых мною условиях мысль стала действием. Это верно. Мысль стала действием, потому что она стала содержанием жизни в изоляции, формой творчества и формой движения в темнице. Но не всегда это было отрядным движением к достижимой цели; наоборот, в тюрьме более, чем где-либо, мысль -- выражение трагической коллизии.

Известны слова Шопенгауэра, сказавшего, что жизнь есть одновременно и комедия и трагедия. Повседневные заботы, житейские конфликты, мелкие интересы -- это сцены из комедии. Однако невыполненные желания, беспощадно растоптанные судьбой надежды, неисчислимы ошибки -- все это в сочетании с нарастающими страданиями и смертью превращает жизнь в трагедию. Так как люди часто неспособны в будничной жизни сохранять свое достоинство, то, действуя в

трагических обстоятельствах, они порой оказываются комическими персонажами. (Суетности "внешнего мира", лишаящей одухотворенности "внутренний мир", уделял много внимания Белинский, особенно в своей переписке с Бакуниным, называя "гривенниками" навязчивые тягостные мелочи повседневной жизни.)

Я вспомнил об этих рассуждениях, потому что в их свете становится яснее, почему в тюремном заключении мысли могут стать отражением жизненной трагедии в чистом виде, могут быть трагическим действием.

Я, конечно, не хочу сказать, что только в тюремном заключении постигаются роковые проблемы, возникающие в раздумьях о пройденном жизненном пути. Но в тюрьме, да и вообще в вынужденном одиночестве, особенно явственно понимаешь, что мечты не осуществлены, ошибки не исправимы, надежды тщетны и смерть недалеко, возможно, в обличи палача. Но в этих же условиях на душевное состояние влияет своеобразное преимущество узника, находящегося в полной изоляции: хоть он страдает даже в страхе, зато освобожден на время от повседневных забот "быстротекущей жизни", от мелких житейских тягот, от суеты, из-за которой трагедия — по своей сути — может обратиться в комедию — по форме.

Стало быть, в тюремном одиночестве человек, если он владеет своими нервами, может порой мыслить на уровне чистой высокой трагедии. Правда, в одиночестве, погрузившись в размышления, человек может незаметно для себя увлечься и некими абстрактными понятиями, за кото-

рыми скрывается доступная людям реальность. Такова была обуревавшая меня в секретной тюрьме жажда бессмертия.

Если бы я был религиозен, я бы обрадовался, что "жив чувством соприкосновения таинственным миром иным" — как говорил русский инок у Достоевского. Не было этого. К сожалению. Несмотря на то, что человек в тюрьме причастен к тайнам бытия больше, чем в повседневной сутолоке.

Я думаю, что страстная воля к бессмертию, томившая душу в одиночном заключении, была и выражением тоски по жизни во всем ее величии и красоте, была вместе с тем игрой ума и защитной реакцией в застенке. С этой точки зрения мои попытки в тюрьме выразить в словах мечты о бессмертии — форма поисков выхода из тупика.

Три основных записи вошли в цикл под названием "Жажда бессмертия". Первое стихотворение "*Я — все*", второе "*Ты — не один*" и третье "*Мы — мир*". Для первого я использовал свое юношеское стихотворение, которое начиналось с восклицания: "Я — луч. Я — дождь. Я знаю все. Все-го хочу!", а завершалось словами: "Но, жадный и немой, сурово я умру. Неужто я умру? Неужто все забуду?". Второе стихотворение в своем зачатке, как я теперь обнаружил, было неосознанной антитезой к совсем другому юношескому стишку. Я писал когда-то, еще в Одессе: "Четыре стены я раскрою, на дольний мрак не оглянусь, плененный мировой игрою ввысь поднимусь". Тюремные записи: " ... душа молчит и глух поэт, когда четыре стены скроют, и мира нет".

Мысленное преодоление одиночества: "Я — не один. Земля послушно несет, кружит, и небо с нежностью воздушной в глаза глядит". И снова отчаяние: "Но все ж один... Ведь я неповторим. В страдании пламенном сгорю я, никто не крикнет: "Мы горим". Спасенье искал я в вечной жизни своей мысли: "Хочу... своею мыслью голодной других насытить бытие; хочу жить в памяти народной и знать бессмертье свое. Далекому промолвить внуку, сквозь вечность протянувши руку: "Ты — не один!" Третья мысленная длинная запись была пантеистической: "День мой сверкает. Светла моя ночь. Нет мне начала и нет мне конца. Ветер — он сын мой, Земля — моя дочь, — радуют сердце отца".

Привожу эти записи потому, что игра мыслей в изоляции от мира отражает и прикосновенность к вечным идеям. Ведь этого добивались отшельники. Через много лет после моих порывов к слиянию с миром я прочел в книге академика Конрада выдержки из китайского трактата "Западная надпись": "Небо — мой отец. Земля — моя мать. Все люди братья. Все вещи — мои товарищи". Но зачем мне уподобляться китайским мудрецам? Ведь и русский инок призывал любить мир — "всецелою, всемирною любовью". Я мог бы сослаться и на философию еврейских цадиков. Есть объединяющая всех людей, общая всем трагедия и высшая радость...

Итак, рассказ о тюремном тупике, начатый зловещим изречением "Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма" и посвященный в значительной своей части опасным сторонам пребывания в

особорежимной тюрьме, — я заканчиваю рассуждением о высокой трагедии и общечеловеческой радости.

Такой ход повествования отражает развитие моего душевного мира во время долгого пребывания в Сухановской тюрьме. Тюремщики вряд ли были способны понять, каким образом эпитет "особая" может приобрести иной смысл, чем тот зловещий, который они ему придавали. Действительно, рассказывая о моих мечтаниях в одиночке, я описываю особое состояние, но не состояние деградации, которого добивались тюремщики, а наоборот, поиски выхода из тупика. Правда, мечты о бессмертии могли быть и формой бегства от страшной действительности. Все дело в том, что бежать от нее нельзя было. Скрыться от действительности было невозможно потому, что тюрьма была частью страны (я уже писал об этом). Сухановская тюрьма с ее условиями существования, губительными для личности, была по своей сути типичной для страны и эпохи. Эти аномальные условия не могли бы стать реальностью, если бы эту тюрьму не породил античеловечный режим того времени.

Мои размышления в одиночке были не только поисками выхода из тюремного тупика, но поисками выхода из огромного лабиринта обмана и самообмана.

В ЛАБИРИНТЕ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕЙ

В тюремной камере я повторял стихи Пушкина: "... в уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток, воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток". Я помнил и мужественные заключительные слова: "Но строк печальных не смываю". Однако, погруженный в тюремные мечтания, я как бы останавливал развешивающийся и колеблющийся свиток, приглядывался к строке, запечатлевшей прошлое, и... вносил поправку. Это могло быть опасным колдовством, если бы дело не свелось к игре: я вспоминал неосуществленные альтернативы моего жизненного пути и убеждался, что могу изменить направление пути, но не в состоянии изменить итог.

Смысл сочиненного мною в одиночке романа "Жизнь с вариантами" был тот, что все возможные ответвления жизненного пути героя, советского интеллигента, неизбежно должны были завершиться в тюремной камере, где эти варианты были сконструированы. Я и теперь так думаю. Но теперь я вижу и допущенную мною в моем романе ошибку. Я открывал перед героем возможность выбора нового пути и образа жизни, но оставлял в силе мировоззрение героя романа. Мой герой неизменно сохранял убежденность в том, что наступила эпоха благотворной перестройки общества, а Россия положила начало важным историческим переменам в жизни человечества.

Такая приверженность определенной отвлеченной идее, определенному общественному движению, а следовательно, и неким обязательным целям, должна привести и к подчинению средств этим целям; таким "средством" может стать целая жизнь. Но если цели не осуществились, или произошла в жизни общества подмена целей, то обесцениваются и средства, тогда может обесцениться жизнь человека.

Я и об этом задумывался. Но когда я сочинял роман "Жизнь с вариантами", меня, главным образом, занимала мысль, что не только я сам в различных "ипостасях", но и мое поколение в различных ипостасях, многие мои сверстники были обречены стать жертвами произвола и репрессий.

Под этим углом зрения я вкратце изложу некоторые "варианты" моей жизни, которые я придумал в тюремной одиночке в 1940 году.

Впервые я оказался на распутьи летом 1917 года, когда умерла моя мать. Была весна революции. А я был совершенно одинок. Вскоре я получил из Петрограда письмо от известного ученого-марксиста Д.Б. Рязанова. В 1917 году он присоединился к большевикам, а когда-то в прошлом был в дружбе с моим отцом, Парвусом, его жена Анна Львовна дружила с моей матерью. Рязановы звали меня в Петроград, предлагали жить у них. Главным образом, из-за нежелания начать жизнь в качестве "сына Парвуса", под покровительством его бывших друзей, я отказался принять теплое приглашение Рязановых. Кажется, я им написал, что хочу обрести самостоятельность, прежде чем покину Одессу.

Впоследствии я многократно пенял на себя за то, что не воспользовался возможностью увидеть столицу, оказаться в гуще революционных событий. Если бы я жил в Петрограде летом и осенью 1917 года, то, вероятно, в революционной атмосфере уже смолodu стал бы большевиком, а после Октябрьской революции стал бы работником государственного аппарата, верней всего — дипломатического, на несколько лет ранее, чем это было в действительности. Моделью этого варианта послужила для меня жизнь моего ровесника и сослуживца Е. В. Гиршфельда, выросшего в семье старых революционеров. Он рано стал подвизаться на дипломатическом поприще и был арестован на две недели раньше меня.

Могло бы случиться, что, приняв предложение Рязанова и подпав под его влияние, я стал бы заниматься марксистской теорией, работал бы в созданном им Институте Маркса-Энгельса. Но тогда при подготовке процесса меньшевиков в 1931 году я был бы репрессирован вместе с Рязановым и его сотрудниками. Еще не было Сухановской тюрьмы, я там не побывал бы, но раньше, чем это случилось фактически (и на больший срок), стал бы обитателем Архипелага ГУЛаг.

Разумеется, я продумывал в тюрьме те поворотные моменты моей жизни, когда передо мной непосредственно стояла альтернатива: вступать в ВКП(б) или нет. В Одессе в первые месяцы установления советской власти я был близок с молодыми коммунистами (а позднее с подпольщиками), мои приятели недоумевали, почему я не вступил в партию. Но я не был убежденным

большевиком и не скрывал этого. В начале двадцатых годов петроградские коммунисты, связанные с Политехническим институтом, где я учился, настойчиво уговаривали меня стать членом партии. Я снова не совершил этого шага (я писал об этом в вышедшей книге).

Позднее я осуждал себя за "интеллигентские колебания", а когда подал заявление о приеме в партию, должен был объяснять, почему я этого раньше не сделал.

(Я стал кандидатом в члены партии, работая в редакции "Известий" в 1931 году, и оставался им, то есть неполноправным членом партии, вплоть до ареста в 1939 году. После возвращения в Москву в 1955 году я добился восстановления меня в звании члена партии; в этих моих шагах сказалась логика моей борьбы за полную реабилитацию и снятие всех ложных обвинений. Хотя в 1956 году я уже не склонен был снова стать слугой партии и государства, все же в ту пору я еще не вышел на чистую волю из лабиринта обмана и самообмана.)

Размышляя в тюрьме в 1940 году, я пришел к выводу, что будь я полноправным "старым" членом партии, я значительно раньше, чем это случилось, был бы репрессирован. Если бы в годы фактического раскола партии я был бы полноправным коммунистом, то участвовал бы во внутрипартийных дискуссиях и, даже оставаясь сторонником "генеральной линии", высказывал бы взгляды, которые раньше или позже все равно были бы объявлены отступлением от догмы, "уклоном". Во второй половине тридцатых годов

ретивые "проработчики" и разоблачители, не жалея сил и времени, рылись в старых партийных архивах и выискивали протоколы и записи выступлений на партийных заседаниях, которые в новых условиях можно было использовать для столь же вздорных, как и злобных, обвинений. В НКВД подобная организация травли была излюбленным приемом тогда еще молодых карьеристов, а впоследствии послов, таких, как Костылев, Аркадьев, Малик (всех не упомнишь, да и не назовешь, все "новые кадры" конца тридцатых годов сделали карьеру на травле честных людей).

В качестве только одного примера из многих я приведу запомнившийся случай с бывшим политическим эмигрантом, а с первых лет советской власти крупным работником НКВД, Вайнштейном. В 1938 году ему предъявили на шумном собрании обвинения по поводу того, что в двадцатых годах (как выяснилось из ветхого протокола) он председательствовал (не выступал) на собрании, на котором держали речи оппозиционеры, тогда еще члены партии. Вайнштейн тщетно разъяснял, что в тот день он прибыл в командировку из Ленинграда, зашел в наркомат повидать товарищей, а его в знак дружбы сослуживцы попросили председательствовать на собрании. На другой день он уехал из Москвы и больше в партийной жизни центрального аппарата участия не принимал. И все же это сфальсифицированное разоблачение "причастности к оппозиции" стало исходным моментом в подготовлявшемся исключении Вайнштейна из партии. Он был арестован и вернулся в Москву в 1955 году.

Конструируя варианты моей жизни, я сопоставлял два ряда фактов: проработки и преследования в тридцатых годах и некоторые мои выступления и высказывания в двадцатых годах, когда я был беспартийным работником НКВД.

Вспоминаю дискуссию на открытом собрании так называемой партийной группы политических отделов НКВД (не ранее 1925 года, возможно, в начале 1926 года). Читателю семидесятых-восьмидесятых годов покажется неправдоподобным мой рассказ. На открытом партийном собрании обсуждался вопрос, будет ли при социализме существовать армия (!). Не нужно думать, что участниками дискуссии были политически неопытные люди. В НКВД работали участники гражданской войны и большевистского подполья или политические эмигранты до 1917 года. Объясняется эта непредставимая сегодня дискуссия несколькими обстоятельствами; в ту пору не все члены партии (а тем более беспартийные интеллигенты) были убеждены, что можно построить социалистическое общество в одной отдельно взятой стране; но и уверовавшие в эту идею вовсе не предполагали, что социализм — дело ближайшего будущего. Да и о социализме у нас были туманные представления, близкие к утопизму и, во всяком случае, далекие от вскоре прокламированных официальных толкований. Так вот, на нашем собрании большинство держалось того мнения, что при социализме не будет постоянной армии. В таком духе высказывался и я. Трезвее всех оказался бывший чиновник императорской России, не читавший ни Маркса, ни Ленина, заведующий

Протокольным отделом Флоринский. Хотя были высказаны различные мнения, Флоринский заявил, что согласен со всеми предыдущими ораторами, после чего призвал записываться в "Добровольное общество содействия армии и флоту", взносы принимает он, Флоринский...

Однажды на собрании в НКВД — примерно такого же состава, как только что упомянутое, — я попал под обстрел за крамольное выступление. Дело происходило, вероятно, после 1927 года. Обсуждались лозунги социалистического соревнования (или ударничества), что тогда было новинкой. Я сказал, что опыт развертывающегося на предприятиях социалистического соревнования нельзя переносить в советское учреждение. Соревнование становится беспредметным, если нет конкретных показателей производительности труда. Характерно для нравов тех лет, в отличие от позднейших времен: моя критика социалистического соревнования вызвала только резкие реплики на собрании; меня не "прорабатывали", признавать ошибки мне не пришлось...

Я запомнил относящийся к тем же временам разговор, который меня побудил заново продумать многие знакомые представления. Однажды я встретил Б.Е. Штейна, известного дипломата и моего доброжелателя; он возвращался домой с закрытого партийного собрания. Очевидно, под впечатлением происходившей дискуссии Штейн лукаво спросил меня: "Как вы считаете, наша промышленность социалистическая или капиталистическая?" Самая возможность постановки такого вопроса теперь кажется столь же неправдо-

подобной, как и спор, будет ли существовать армия при социализме. Но еще удивительнее мой тогдашний ответ. Помнится, я сказал, что если создается и изымается прибавочная стоимость, то такую промышленность нельзя считать социалистической. Штейн повторил хорошо известные теперь аргументы в доказательство того, что советская промышленность — социалистическая. Борим Ефимович меня дружески предупредил, чтобы я не делал поспешных умозаключений.

Обмен мнениями на собраниях или в частных беседах о роли армии при полном социализме или значении социалистического соревнования были лишь идиллическими эпизодами. Они только косвенно отражали горячие идейные споры, политические бои между приверженцами формировавшейся тогда "генеральной линии" и оппозицией. Но, как показал ход исторических событий, внутрипартийные дискуссии двадцатых годов были тоже "идиллией" по сравнению с позднейшей сталинской кровавой расправой над оппозицией.

Я говорил себе в тюремной камере: был бы я в двадцатых годах полноправным членом партии, я, несомненно, пылко высказывался бы на собраниях. Позднее мне не прошла бы даром свойственная мне в ранние годы склонность выражать свое собственное, неканоническое мнение. Во второй половине тридцатых годов я должен был бы объясняться по поводу того, что говорил и делал в двадцатых годах. Результат был бы тот, что я оказался бы в камере Сухановской тюрьмы еще раньше, чем это случилось в действительности. Правда, добавлю я теперь, при этом "вариан-

те” я после реабилитации как старый член партии получил бы персональную пенсию, в которой мне фактически и незаконно руководство МИД СССР отказало...

В тюремной одиночке сочинение моего романа “Жизнь с вариантами” было довольно увлекательной игрой, и я перебрал множество альтернатив. Из них я здесь упомяну еще только одну, отличающуюся “по сюжету” от других.

Зимой 1919-1920 года, живя при белых нелегально в Одессе, я, используя свои знакомства в разнокалиберной студенческой среде, в частности, с большевистскими подпольщиками, добыл заграничный паспорт для скрывавшегося у моих родственников видного большевика. В Одессе свирепствовал белый террор, и моему знакомому удалось бежать из Одессы на пароходе, шедшем в Константинополь. Мой знакомый уговаривал меня уехать за границу вместе с ним. Он располагал большими средствами и готов был ссудить деньги на “покупку” еще одного заграничного паспорта. Возможно, зная, что я сын Парвуса, он надеялся, попав в Германию, использовать то обстоятельство, что с ним прибыл сын знаменитого миллионера. У этого большевика были авантюристические наклонности. Я решительно отказался уехать вместе с ним. Я вовсе не намерен был покидать Россию.

И вот в 1940 году, в Сухановской тюрьме, я попытался представить себе, как сложилась бы моя жизнь, если бы я выбрался в 1919 году за границу. Состоялась бы встреча с отцом; в силу моего революционного идеализма я не сошелся

бы с ним близко, даже если бы первоначально меня привлекли блага богатой жизни. Продумывая этот вариант, я пришел к выводу, что, оказавшись в Германии, юноша, выросший в России, связался бы с немецкими коммунистами. Во всяком случае, я не остался бы в стороне от рабочего движения. Революционная идеология, воспринятая мною с детства, определила бы мое поведение в капиталистической стране. Позднее я включился бы в антифашистскую борьбу. После прихода гитлеровцев к власти меня постигла бы судьба многих антифашистов: либо я погиб бы от рук фашистских палачей, либо, пробравшись в СССР, стал жертвой сталинских палачей.

Когда в тюрьме я сочинял этот "вариант жизни", то представлял себе, что, вероятнее всего, я еще до тридцатых годов связал бы свою судьбу с Коминтерном, вернулся бы в СССР.

То был наихудший из придуманных мною в тюрьме "вариантов" моей жизни. Когда находившиеся за границей молодые революционеры или русские патриоты добивались возможности въезда в СССР или шли на работу в зарубежные советские учреждения, они чаще всего имели дело с заграничными агентами "органов" и оказывались навсегда с ними связанными. А это — роковая и безысходная зависимость. Во времена террора таких людей арестовывали ранее других и не выпускали на свободу. Меня такая судьба миновала.

Конструируя в одиночке неосуществившиеся альтернативы моей жизни и продумывая прошлое, я то пытался обрести утешение, а порой и приходил в ужас, при мысли, что следствие и

обвинение построены на сочиненном следователями чудовищном "варианте", не имевшем ничего общего ни с реальным ходом моей жизни, ни с упущенными ее альтернативами. Так что придуманная мною игра служила мне слабым утешением.

* * *

То, что было игрой ума в то время и в тех условиях, о которых я пишу, заслуживает серьезного обдумывания теперь, когда я об этом вспоминаю.

Снова и снова требуют ответа "роковые вопросы", немало на них дано ответов, и все же они словно призраки преследуют историка советского общества и автора мемуаров. Таков вопрос: как случилось, что "революция пожирала своих сыновей?" Есть и обратная сторона традиционной проблемы: почему "сыновья" иной раз сами лезли в ненасытную пасть?

Складываются два ряда проблем. В одном ряду вопрос: что же это за государство, которое уничтожало своих слуг? В другом ряду: что же это за порода людей, эти слуги, преданные деспотическому государству? Как случилось, что государство, апеллировавшее к массам, расправилось с огромной массой населения? Как случилось, что в прошлом идейные демократы-революционеры стали слугами такого государства? Более современная ситуация: государство, не прибегая к массовому террору, все же запугивает население,

опутывает его ложью и многообразными способами душит мысль в стране, калечит жизнь честных и свободно мыслящих людей. Что же представляет собой это общество, каковы его слуги?

Понятно, что я не собираюсь в мемуарах освещать все эти проблемы. Я счел нужным напомнить о взаимосвязи, взаимодействии между личностью и обществом. Мне думается, что мой рассказ может служить иллюстрацией известной истины, согласно которой, исследуя, чем "люди в действительности являются", можно постичь "окружающие их условия жизни". Я касаюсь и этих "условий", но в центре моего внимания находится психология моя и моих современников и, соответственно, вопросы, которые занимали и терзали мое поколение, и ошибки, которые оно совершало.

Впрочем дело не ограничивается поколением двадцатых годов. Вопросы, которые я здесь ставлю, потребуют ответа от поколения, строящего жизнь в восьмидесятых годах. В конце века молодые деятельные люди будут вынуждены сделать свои выводы, отвечая на вопросы, волновавшие узника в 1940 году и сформулированные в мемуарах, написанных в конце семидесятых годов.

Человек, томившийся в Сухановской тюрьме в сороковых годах, счел бы проявлением разнузданного пессимизма мысль, будто и спустя сорок лет обнаружится, что людей, живущих на воле, одолевают сомнения и страхи, сходные с теми, какие мучили заключенных в сталинских тюрьмах. Это, действительно, и спорная аналогия и страшная перспектива.

И все же эту мысль трудно отвергнуть. Несбывшиеся надежды на благотворные социальные перемены, горечь разочарования в общественном строе, которому человек служил, и ужас перед его чудовищной изнанкой, мытарства семьи, обреченной на разного рода репрессии, -- такова была катастрофа, бремя и последствия которой должен был в давние годы вынести и пережить узник особосекретной тюрьмы. Но ведь в семидесятых годах немало невинных и мужественных людей пережило и переживает сходные нравственные и физические страдания в советских тюрьмах и лагерях.

Все же, когда я сказал, что в последней четверти века придется жителям советской страны отвечать на вопросы, подобные тем, какие вставали перед их отцами и дедами, то я имел в виду главным образом общественную трагедию. Нашим потомкам надо будет справиться не просто с личной катастрофой, а с катастрофой исторического масштаба, порожденной моральным и материальным кризисом того строя, который внушил немало иллюзий и искорежил жизнь нескольких поколений.

Я заговорил о катастрофе в прошлом и будущем, это понятие включено в заголовок опубликованной части "Записок", но оно осталось неразъясненным (как и многое другое). Хочу здесь сказать, что я не имею в виду некую мгновенную катастрофу. Переломы в жизни общества вряд ли следует уподоблять землетрясениям, бедствиям, которые за несколько минут разрушают все вокруг и меняют рельеф местности. Перемены в

жизни советского общества, и тем самым в жизни моего поколения, я сравнил бы с оползнями на берегу моря, которые длятся долго, лишь постепенно становятся заметными и завершаются обвалом, увлекающим в пропасть людей и дома.

Оползни и обвалы сменяли один другой, происходили на разных уровнях, в различное время. Следовательно, и судьбы людские складывались по-разному, не было одинаковым и отношение к действительности. Одни дольше других оставались в нормальных условиях; они даже могли с высоты обрыва любоваться морским простором; иные, обнаружив угрозу обвала, бежали от края пропасти, но многие из всех сил старались укрепить оползающую почву, между тем, вблизи уже громыхал обвал, а еще где-то злодеи и мародеры расхищали ценности в полуразрушенном жилище.

Сторонник социализма наслаждался жизненным простором, когда подземные толчки уже сотрясали и разрушали почву. Он был далек от представлений противников советской власти, считавших, что самая Октябрьская революция была исторической катастрофой. Когда с наступлением НЭП'а почва нового государства заколебалась, он был среди тех, кто верил, что можно задержать оползень, более того — можно укрепить устой общества. Позднее он воспринял лозунг строительства социализма как призыв строить новый дом вместо разрушенного ("Я знаю, город будет, я знаю — саду цвести ..."). Позднее обнаружилось, что города строятся на болоте и что во имя строительства социализма вырубаются сады и леса. Пелена обмана и самообмана не

позволила сторонникам советской власти увидеть, что дело не ограничивается обвалом, но что злодеи хозяйничают в разрушенных жилищах — истреблялось самодеятельное крестьянство. Наконец, во второй половине тридцатых годов разразился массовый террор, равносильный новому разрушительному обвалу, потрясшему устои общества. Тогда и мой дом был расколот; часть повисла над бездной, часть — рухнула в пропасть.

Кем же был этот сторонник социализма, теперь признающийся, что с пеленой на глазах прошел по историческим путям и перепутьям? На такой вопрос можно услышать разные прямолинейные ответы: простак, слишком поздно спохватившийся; соучастник преступления, пытающийся оправдаться; участник исторического дела, потерявший ориентацию...

Когда речь идет о пути, пройденном страной и моим поколением, то можно услышать множество подобных суждений, внушенных ненавистью или разочарованием, злорадством или, наоборот, неизжитыми иллюзиями, либо желанием сеять иллюзии. Я не хочу и не должен здесь вступать в полемику с подобными эмоциональными суждениями, я вижу свою задачу в том, чтобы по возможности объективно свидетельствовать о перерождении общества и собственной эволюции. Впрочем, "сторонник социализма", упоминаемый на этих страницах, это лишь отчасти автор "Записок" и не только он.

Ход моих рассуждений увел меня далеко от тюремной камеры, где эти мысли зародились.

Я еще вернусь туда. Правда, я остаюсь в рамках общей темы "Катастрофа и второе рождение".

* * *

Когда я полтора десятка лет назад приступил к составлению "Записок", то в "Прологе"* пытался объяснить поведение юноши, который, не задумываясь, отдал советскому государству богатое наследство. Я воспользовался таким понятием, как "эпохальный характер". Видимо, я тогда почерпнул этот образ у Герцена. Во всяком случае, я теперь обнаружил на полях статьи Герцена "Еще раз о Базарове" свою пометку -- "эпохальный характер". За прошедшие годы я имел возможность снова продумать понятие, занявшее определенное место в моей книге. Поскольку я намерен и далее им пользоваться, я теперь сделаю некоторые пояснения.

Наиболее распространенное представление — присущее и Герцену — сводится к тому, что люди определенного поколения или социального круга в своем самосознании и поведении ориентировались на некий "исторический характер", как правило, воспринятый из литературы**. Такими

* "Катастрофа и второе рождение". Амстердам, 1977 г.

** Мне удалось глубже разобраться в этом вопросе благодаря книге Лидии Гинзбург "О психологической прозе".

эталоны были байронические характеры, были герои Чернышевского, немецкие романтики и др. Во введении к моим воспоминаниям я сказал, что мое мировоззрение сформировали два сильных течения идейной жизни -- революционная социалистическая идеология и гуманная русская литература. Тем самым обозначено "поле воздействия", материализовавшееся в различных исторических характерах.

Однако я только отчасти имел в виду эти влияния, когда говорил, что на моем поведении сказалось то, что иногда называют "эпохальным характером". Я имел в виду не ориентацию на исторический характер, а нечто иное, когда пояснял, что в переломные исторические периоды поведение вовсе не "исторических" персонажей может определяться общественными переменами и даже мировыми событиями. Добавлю к сказанному, что такое явление возможно только при таких условиях общественной жизни, когда люди осведомлены о том, что происходит на широком, даже мировом, пространстве, а не только в определенном углу одной страны. В таких условиях выросли многие поколения. "Эпохальный характер" сложился у представителей моего поколения, вся жизнь которого прошла под знаком назревающего или совершившегося перелома в мире, в обществе, в индивидуальной судьбе. К тому же, в той среде, к которой я принадлежал, отношение к общественным переменам и просто международным событиям всегда приобретало субъективную, эмоциональную окраску. Именно благодаря этому складывался "эпохальный

характер” или, если угодно, определенный стереотип поведения.

Мне кажется плодотворной вот эта гипотеза о сходном механизме поведения людей, которые не просто подражают вольно или невольно историческим или литературным героям, а находятся во власти представлений и эмоций, внушенных самой эпохой, ”музыкой времени”.

Я не хочу приукрасить близкий мне — эпохальный характер. Присущий ему, определяемый воздействием мощных общественных факторов, механизм поведения срабатывает по-разному, ему был свойственен далеко не одинаковый коэффициент полезного действия. Ведь индивидуальные судьбы складывались по-разному. Если пытаться определить доминанту различных ”эпохальных характеров” в первые годы революции, то их созвучие обнаружится даже у людей, политически принадлежавших противоположным лагерям. Я рискую вызвать гнев и возмущение у представителей обоих этих политических лагерей, но все же скажу: были общие ”эпохальные” черты у тех, кто, самоотверженно сражаясь, видел смысл своей жизни в революционном обновлении России, и у тех, кто ставил на карту жизнь, спасая Россию от революции. Более того, один и тот же человек мог на одном этапе пути с чистой душой сражаться на одной стороне и в другой период своей жизни чистосердечно прийти к выводу, что он обязан служить иным идеям. В обоих случаях такой человек не изменял своему ”эпохальному характеру” и готовности служить отвлеченной идее.

На самых различных уровнях советского общества люди свою профессиональную работу (имевшую для них самодовлеющее значение), а многие всю свою жизнь связывали с борьбой за некие высшие отвлеченные ценности и далекие цели. Безоговорочное одобрение правоты общих принципов и фанатичное признание необходимости приносить жертвы и требовать жертв во имя этих принципов и крупномасштабных планов -- таковы важные черты психологии, складывавшейся в первые годы революции. Но и в период мирного строительства, когда Маяковский сказал, что он наступал на горло собственной песне, он выразил мировосприятие нескольких поколений людей, превративших свою жизнь -- продуманно или автоматически -- в средство достижения обществом неких высших целей. А Маяковский, как известно, покончил с собой ...

Тут-то я в своем повествовании оказался у входа в лабиринт средств и целей, из которого я искал выход, находясь в тюремной камере. Как бы ни складывались судьбы "героев моего романа", на их жизнь и психологию наложила отпечаток та общественная эволюция, по ходу которой, в силу иронии истории или "хитрости мирового разума" (по Гегелю), происходило и перерождение средств и подмена целей. Оттого и пришлось плутать в лабиринте.

Процесс общественного развития определял и динамику развития характеров. Пора сказать (не отрицая генетической предопределенности), что "эпохальный характер" не есть постоянная величина. К новым средствам и целям необходимо

было подгонять механизм поведения. Долго еще действовала инерция самоотверженного участия в жизни общества. Однако это уже не было вольное служение великой идее, а служба на потребу государства. Позднее давало себя знать корыстное приспособление — как результат вырождения "эпохального характера", так и в силу выхода на арену совсем новых персонажей.

Решусь сказать: по мере эволюции системы люди становились хуже. Для определения этого процесса нет общезначимого мерила, нет эталона, от которого можно было бы вести отсчет. Но можно прибегнуть к модели. Таковы примеры того, как портились, вырождались люди в сталинском "исправительно-трудовом лагере", в этом сколке страны.

(Ни в коем случае не следует меня понимать в том смысле, будто в лагерях не было принципиальных людей, сохранивших свое лицо. Было много добрых людей. Порой налаживался союз добрых и мужественных людей. Но ведь за пределами лагеря тоже было много хороших людей. Я привожу отрицательные примеры и отмечаю пагубные тенденции в качестве наглядной модели эволюции человеческих характеров в условиях деспотического строя, концентрированным выражением которого является лагерный режим.)

В лагере каждый заключенный в какой-то мере, какой-то стороной своей жизни менялся в худшую сторону. По давню — люди с опустошенной душой. Человек, и не бывший ранее крупным начальником, но по природе своей склонный навязывать другим свою волю, охотно выступал в

роли лагерного командира, хотя бы на самой нижней ступени. Наоборот, мягкий, слабовольный человек в лагере быстрее опускался, соглашался, чтобы им помыкали, чего в нормальных условиях он не позволил бы. Тот, кто до лагеря исключительно из осторожности соблюдал правила честного поведения, превращался в развязного хапуна и взяточника. Злой человек давал волю своей злобе, трусливый обращался в тряпку. А уж подхалимы становились "шестерками" и стукачами.

Пожалуй, наибольший материал для обобщения дает наблюдавшаяся в лагерной обстановке комбинация двух, казалось бы, противоположных черт и склонностей: готовность приказывать и готовность повиноваться. Лагерник, охотно помыкавший теми, кем ему было поручено распоряжаться, с таким же усердием безоговорочно, слепо повиновался сильнейшему, а тем более начальнику по должности.

Не раз я наблюдал эти явления в лагере, да иногда и в ссылке. Между тем значение этой модели выходит далеко за рамки лагерного опыта. Когда я, находясь в глубинах "Архипелага ГУЛаг", делал свои наблюдения, я не предвидел, что, вернувшись на "большую землю", познакомясь с литературой, обобщающей мои наблюдения. Такого представления об "авторитарном характере", который в условиях современности содержит потенциальные возможности развития к фашизму (немецкий философ Адорно). Этому понятию дано и важное расширительное толкование. В условиях тоталитарного режима "автори-

тарный характер” наделен одновременно и страстью приказывать, и готовностью повиноваться (американский историк Роберт Такер).

Сказанное не есть отступление в область социологических теорий. Последовательность в моем изложении требовала, чтобы я сказал об этой дурной двойственности как черте ”эпохального характера”, пришедшего на смену описанному мною в моих воспоминаниях. Тем более надо было об этом сказать, что и я сам претерпел определенную эволюцию, в чем отдал себе отчет еще в тюремной камере.

Приведенная мною модель есть концентрация определенных черт, это структура, имеющая общее значение, но остающаяся абстракцией, пока не приняты во внимание общественные условия и господствующая идеология. Об этих условиях уже сказано. Важная сторона пагубной эволюции: выстраданное, продуманное мировоззрение превращается в прокламированную жесткую идеологию. Такая ситуация как раз и способствует эволюции характеров в худшую сторону. Судьба моих сверстников — свидетельство того, что фанатизм, одержимость революционными лозунгами может порождать и бесплодное бескорыстие и беспощадную жестокость. Если идеология требует от граждан безоглядной дисциплины, насаждает ненависть и страх, то бескорыстие становится редкостью, а душевная тупость и даже жестокость все более распространенной чертой.

Как далеко в своем изложении я ушел от описанного в начале книги ”эпохального характера”! Между тем я должен сделать еще один

существенный шаг в своих рассуждениях, сказав о связи между преданностью отвлеченной идее, далекой, неясной цели, и отношением к средствам достижения цели. Чем настойчивее прокламировалась цель, тем легче сознание людей приспособлялось к мысли, что цель оправдывает средства. Этот аргумент не раз в жизни советского общества приводился, можно сказать "открытым текстом". Это еще не было нечаевщиной (если не касаться психологии проводников репрессий), но в этом было кое-что от психологии Раскольникова. Согласие с тем, что благая цель может оправдать дурное средство, было лишь одной из первоначальных форм обмана, заводящего в тупик. Следующая стадия обмана и самообмана наступала тогда, когда преданные слуги государства, да и обывательская масса, мирились не только с применением аморальных, незаконных средств управления страной, но постепенно научились скрывать от себя, а вернее принимать как свершившееся смену самой цели, к которой стремилась система, двигалось государство.

* * *

Надобно сказанное подкрепить, попытавшись несколько абстрактно обрисованные процессы наполнить историческим содержанием. Не претендуя на роль историка или социолога, я не стану вдаваться в подробное освещение отдельных этапов развития общества.

Как автор мемуаров, я хотел бы сказать, какая общая картина предстает перед бывшим свидетелем и участником событий, когда он оглядывается на прошлое, освобождаясь от иллюзий молодости.

Я выбираю из общей картины отдельные сменяющиеся кадры. Различные кадры — и все тот же лабиринт. Но не всегда он был безысходно мрачным.

Проиллюстрирую свои впечатления с помощью довольно неожиданной ассоциации.

Подростком я любил аттракцион, устроенный в Приморском парке в Одессе: лабиринт, состоявший из сложно переплетавшихся и скрещивавшихся дорожек, отделенных перилами. Усатые деловые люди, лихие моряки и нарядные, пылкие южанки, сосредоточенные юноши торопились, даже бежали в разных направлениях, сталкивались друг с другом и не находили выхода из лабиринта. Он был устроен на открытой площадке, при желании выбраться из него можно было, пробравшись под перилами. Но посетители лабиринта соблюдали правила игры, они упорно плутали, они волновались, даже нервничали, им нужно было найти единственный верный путь к выходу, к цели ...

Эта неотвязная ассоциация с лабиринтом в Одесском парке возникла, когда я размышлял над дискуссиями и проблемами НЭП'а. Я вовсе не идеализирую этот период. Я помню, что это было время трудных поисков, помню нэповскую накипь в городе, по которому я бродил, угрожающе декламируя: "Революция продолжается",

вспоминаются трудные проблемы сочетания государственного регулирования со стихией рынка. Помню горький скептицизм разочарованных революционных романтиков и надежды широко мыслящих людей. Но все эти раздумья, поиски и действия были подчинены строгим рамкам, поставленным господствующей идеологией. Выражаясь фигурально, никто не решался нарушить "правила игры", снять перила и ликвидировать лабиринт; все усилия были направлены на то, чтобы в его пределах выйти на волю.

Но я помню и кое-что другое, о чем молчат официальные советские историки. В годы НЭП'а происходил постепенный, хотя и не слишком явный, пересмотр пагубных ленинских концепций диктатуры пролетариата; изживались зашедшие в страшный тупик методы военного коммунизма; иными словами, происходила осторожная смена средств и целей в лучшую сторону. Теперь зарубежные историки изучают теории и выступления Н. И. Бухарина, который защищал план движения страны вперед в условиях смешанной экономики. Но и западные историки, насколько мне известно, недостаточно ясно установили, как усердно газеты и журналы того времени, в особенности "Известия", пропагандировали эти идеи, обещали развивать легкую промышленность, расширить свободу торговли, предоставить экономическую свободу крестьянству. Отчетливо говорил об этом М. И. Калинин, в ту пору еще не зависевший от Сталина; об этом твердили и на широких собраниях. Я помню атмосферу на Третьем съезде советов в 1925 году. Я присутствовал на

заседании съезда в Большом театре. Мне и моему приятелю было ясно, что съезд сулит крестьянству новые перспективы. Мы заговорили об этом с несколькими делегатами съезда, культурными крестьянами. "Ну что, вы довольны?" — спросили мы. Ответ был несколько неожиданный: "Надо приглядеться ... Подождем ..."

Крестьяне были правы, когда проявляли осторожность, даже недоверие, сомневались в постоянстве целей и средств в политике советской власти. Не успела страна пройти достаточно большой отрезок по новому "нэповскому" ответвлению лабиринта, как был дан толчок движению в совсем другом направлении, по "генеральной линии партии" к полному социализму.

Позволю себе, не вдаваясь в доказательства (здесь это неуместно) сказать, что историческим преступлением партийной бюрократии под сталинским главенством была ликвидация НЭП'а, то есть уничтожение предпосылок благоприятного развития страны в условиях смешанной экономики, при государственном планировании и прогрессивном развитии крестьянского хозяйства.

Полезно напомнить, что мысль о построении социализма в одной, "отдельно взятой стране" противоречила положениям всякой, в том числе и марксистской, науки. На смену старинному представлению о социализме (вовсе не столь зловещему, как кое-кто утверждает) пришло узкое толкование. Социалистическими объявили различные формы огосударствления экономики и всей жизни страны. Таким образом, вместо будущего — правда утопического — "царства

свободы”, воплощением социализма стал Левиафан, деспотическое государство. Невольно вспоминается символическая замена перед Институтом Ленина обелиска Свободы конной статуей князя Долгорукого ...

Не нужно, однако, думать, что, следовательно, ”герои моего романа” просто-напросто поступали беспринципно, перейдя на новые позиции. Я уже по разным поводам говорил о том, что планирование народного хозяйства нами воспринималось как новаторство, открывающее обширные перспективы перед обществом. Если же задача заключалась в ускоренной индустриализации страны, то, тем более, плановое начало должно было вытеснить рыночную стихию. Так господствующей идеей стало сочетание централизации с крупномасштабным строительством. Неизбежным было и то, что подобные представления предопределили изменение взглядов относительно путей развития сельского хозяйства. И ему надлежало стать крупномасштабным. Когда я, еще беспартийный, по поручению шефской организации Сокольнического района Москвы участвовал в агитации за коллективизацию в Центрально-Черноземной области, то настойчиво доказывал, что пришла пора внедрить современную технику в сельское хозяйство, а это требует укрупнения хозяйств, иными словами — создания колхозов. И это искренне говорил человек, не так давно спрашивавший крестьян на съезде Советов в пору НЭП’а: ”Вы довольны?” И говорилось это накануне ”ликвидации кулачества” ...

Нельзя отрицать, что лозунг строительства социализма некоторое время был источником общественного подъема. Эту идею сумели внушить массам. Лозунги пятилеток сохранили популярность и тогда, когда самые пятилетние планы, стоившие огромных жертв, остались невыполненными. Движение по новому пути сопровождалось иллюзиями и миражами. Планы были далеки от реализации, когда нам мерещилось, что в горах Урала уже высится индустриальный гигант, а в пустыне по новехоньким рельсам мчатся поезда.

Между тем идея строительства социализма в полуаграрной стране послужила основанием для массовых репрессий против крестьянства. Обещание осчастливить народ сочеталось с политикой, ведущей к голоду, и с рабским трудом не только в лагерях. Государственная власть, объявленная орудием построения демократического строя, стала орудием беззакония и террора ради укрепления диктатуры и, в особенности, самовластия диктатора.

Научно не обоснованная, на опыте не проверенная гипотеза при ее реализации превратилась в большую ложь и в авантюру. Она оказалась источником массового психоза и нравственного порабощения, которого не избегли и люди, привыкшие мыслить самостоятельно.

Великий соблазн таила надежда, что хотя бы и неполное осуществление намеченных планов приведет к созданию мощного государства, которое будет главной силой, противостоящей международной реакции и, прежде всего, фашизму. Поэтому внешняя политика была как бы ариадни-

ной нитью, указующей выход из мрака лабиринта. На этом держалась лояльность, верность господствующей системе самых разных людей и, в частности, дипломатов и журналистов, профессионально и идейно посвятивших себя борьбе против военной опасности и фашистского мракобесия.

Я не стану здесь ворошить воспоминания из истории внешней политики советского государства. Но, освещая процесс подмены целей и средств, я должен коснуться роковой взаимосвязи внешней и внутренней политики. Эта взаимозависимость, конечно, была различной в разные периоды.

Непосредственно после 1917 года и сторонники и противники Октябрьского переворота — одни, полные надежд, другие, исполненные ужаса, — видели одинаково и во внешней и во внутренней политике Советского правительства орудие расчетов на мировую революцию. Студентом я читал в газетах длиннейшие разоблачительные ноты НКВД; во время интервенции, но и после нее, в связи с различными конфликтами и международными событиями, назначение документов советской дипломатии чаще всего сводилось к тому, чтобы раскрыть "тайны буржуазной дипломатии" и, провозглашая революционные лозунги, апеллировать к боевой солидарности международного пролетариата. В молодости мне такая риторика нравилась.

После 1923 года (разгром революционных выступлений в Германии) люди оглянулись по сторонам и убедились, что на историческом горизонте гаснет отсвет "мирового пожара". Внутри

страны НЭП еще обещал мирную жизнь. В газетах многословные революционные декларации сменялись краткими, но выразительными сообщениями о признании законности и власти советского правительства иностранными державами. Карикатуристы рисовали очередь иностранных дипломатов у двери в кабинет наркома иностранных дел Г.В. Чичерина. Только тогда приобрел значимость принцип мирного сосуществования, о котором ранее, до 1922 года (Генуэзская конференция), и помину не было (вопреки официальной советской историографии). Конечно, происходили, и нередко, крупные внешнеполитические конфликты, имевшие внутриполитический отклик. В ответ на давление иностранных держав устраивались шумные демонстрации, участники которых были вполне искренни в своем возмущении и готовности поддержать правительство.

Знаменательно: хотя в силу своей прежней профессии международника, я лучше многих помню, какие в те годы разыгрывались конфликты, какова была реакция с советской стороны, какие возникали в этой связи опасения и надежды, я помню об убийстве Воровского, об убийстве посла в Варшаве Войкова, о налете на Аркос в Лондоне, об инциденте в Пекине, о занятии китайской военщиной КВЖД, все это помню, и все же, несмотря на все это, у меня не осталось в памяти какой-либо такой ситуации, при которой — до начала тридцатых годов — мы бы испытывали острую тревогу из-за серьезной угрозы непосредственного нападения на СССР. Да и начало тридцатых годов я упомянул более для порядка: в сентябре

1931 года Япония оккупировала Манчжурию, и временно угроза расширения конфликта казалась реальной.

Пресловутая "передышка" длилась фактически с середины двадцатых годов до середины тридцатых. (Конечно — условные хронологические границы.)

Я говорю об этом потому, что парадоксальным образом в результате пропагандистских маневров именно в этот период "капиталистическое окружение" и его "козни" оставались неким постоянным зловещим фоном для внутренней политики. В двадцатых годах во время внутрипартийной борьбы каждая из влиятельных сторон пыталась подкрепить свои концепции либо преувеличением внешней угрозы, либо обвинениями другой стороны в неверной оценке международной конъюнктуры. Это, несомненно, было одним из проявлений воздействия внутренней политики на внешнюю: не раз внутрипартийные споры отражались на позиции СССР, занимаемой им на международной арене, или позиции по вопросам европейского рабочего движения.

Но гораздо явственнее и ощутимее было, порой просто разрушительное, влияние внутриполитических акций и авантур на международные отношения советского государства. Каждая циничная судебная инсценировка имела пагубные последствия для международного положения СССР. Восстанавливаю в памяти некоторые эпизоды: процесс трех немецких студентов в 1925 г. значительно осложнил отношения с Германией, такую же роль сыграл шахтинский процесс

в 1928 году, процесс фирмы "Метро-Виккерс" привел к острому конфликту с Англией, а дело "Промпартии" в 1930 году ухудшило отношения с Францией. И все эти акты беззакония имели длительное влияние на весь комплекс внешнеполитических отношений СССР.

И в этой сфере происходило извращение средств и целей. В те давние годы я, озабоченный по разным поводам осложнением международного положения, не понимал, что правительство, политику которого я поддерживал, не встревожено событиями, меня смущавшими. Сталинскому правительству для его внутривластных целей нужно было, чтобы империалистическое нападение неизменно воспринималось населением как непосредственная угроза. Внешнеполитическая опасность должна была ощущаться, как нависшая туча, надвигающаяся гроза, из-за чего необходимо спешить со всеми хозяйственными работами. Вспоминаю, как на собрании в комбинате "Известий" докладчик, обосновывая темпы пятилетки и пресловутый демагогический лозунг "Пятилетку в четыре года", доказывал, что советский народ должен, подобно отряду бойцов, в быстром марше миновать обстреливаемый участок, чтобы затем закрепиться на недоступных для врага высотах индустриальной страны социализма.

Долгие годы ссылка на угрозу извне служила сталинскому руководству удобным средством для достижения внутривластных целей. Так подкреплялись призывы к бдительности, разжигалась ненависть к обезличенному врагу,

подстерегающему у советских рубежей и засылающему своих агентов внутрь страны. Еще до террора тридцатых годов подобная аргументация имела, можно сказать, всеобъемлющий характер, особенно во время "сплошной коллективизации на основе ликвидации кулачества как класса". Когда целый класс объявлен врагом государства, легче было в пропаганде объединить тревожные внешнеполитические лозунги с агрессивными внутривнутриполитическими призывами.

Во второй половине тридцатых годов внешнеполитическая угроза стала реальностью. Возможная агрессия гитлеровской Германии представляла ощутимую опасность и для СССР и для всего человечества. В этой исторической обстановке советскую страну постигла неповторимая трагедия: лучшие намерения патриотов и антифашистов были как бы вывернуты наизнанку. Неоспоримое и естественное стремление народа оградить страну от опасности становилось для диктаторского режима средством для усиления внутривнутриполитического террора. Цели, которые в то время преследовало сталинское руководство страной, не имели ничего общего с консолидацией антифашистских сил. Как известно эпоха внутривнутриполитического террора, подорвавшего обороноспособность государства, завершилась в 1939 году заключением пакта между Сталиным и Гитлером.

К концу тридцатых годов достигает максимума число жертв террора, погибавших в лагерях, и огромное число замученных и казненных людей, но в это же время был заключен союз о разделе мира между сталинским и гитлеровским

правительствами. Этот сговор через два года в начале войны стоил стране еще новых сотен тысяч погибших из-за неподготовленности к войне.

К концу тридцатых годов в страшном единстве сочеталось перерождение и внутривластных и внешнеполитических средств и целей. Мерзкие средства с обезьяньей ужимкой сменяют друг друга, и вот уже злобная цель когтит человека.

Бетонные стены обрамляли роковой лабиринт и сомкнулись, образовали нависший свод над коридорами лабиринта, в глубине которого подстерегал людоед.

Тупиком в подземелье, в грозной близости от палача-людоеда, были камеры в секретной особорежимной Сухановской тюрьме, где узники с трудом справлялись с отчаянием. Не сразу мне это удалось, и только "по ту сторону отчаянья" стали возможными поиски выхода из лабиринта средств и целей.

ПО ТУ СТОРОНУ ОТЧАЯНИЯ

Второе рождение горбуна

Когда люди во власти повседневности, жизнь находит тысячи уловок, чтобы отвлечь их от ею же навязанных проблем, от необходимости ответить на роковые вопросы. Происходит подмена трагической коллизии комедийными ситуациями, о которой писал Шопенгауэр. Это — вовсе не смешно. Страшна комедия Гоголя "Ревизор". Страшным было и остается существование жителей страны в такой обстановке, когда господствующая, но изживающая себя система пытается ложью приглушить разочарование и тревогу населения, преследует мыслящих людей, опустошает души, насаждает психологию рабов.

Но все же еще страшнее судьба человека, который вырван из жизни или обречен на непрекращенное рабское существование, когда ему нельзя уйти от неумолимой действительности и от "неотразимых обид" (Некрасов). Тогда разочарование переходит в отчаянье.

Самое опасное — потеря надежды, тогда оскудевают мысли и чувства, уныние переходит в цинизм.

Такая опасность, естественно, возникала в тех крайних ситуациях, о которых я рассказываю. Но как раз опыт, пережитый мною, "экстремальный опыт", произведенный историей надо мной и

другими людьми, приводит меня к выводу, что тупое отчаянье вовсе не является неизбежностью.

Наоборот, страдание, даже отчаянье может быть очистительным. Порой мнится, что строгая логика мыслей, холодящая душу, обязывает сделать зловещие выводы. Но это ложный ход рассуждений. Надо и можно освободиться от коварного рассудочного пессимизма; тогда преодолеваешь отчаянье, тогда и мысли "во спасение". Но бывает и так, что ощущение непреодолимости враждебной стихии лишает душевного равновесия. Человеку приходится справляться с приступами отчаянья подобно путнику, которого сбивает с ног пронзительный морозный ветер, а вьюга слепит очи. (Часто приходилось это испытывать в лагерях и ссылке.) Но человек продолжает путь, если порывы страха и отчаянья не погасили мысль и волю к жизни, веру в жизнь.

Размышляя в эти годы над пережитым, я, естественно, замечаю в литературе то, что перекликается с моим собственным опытом и выводами из него. Сказанное только что я могу подкрепить ссылкой на ... Петрарку. В одном из философских диалогов Петрарки (Беседа II) он жалуется другу: " ... Если судьба обрушивается на меня всей ратью ... тогда-то теснимый со всех сторон, до ужаса напуганный таким скоплением бед, я стенаю, и тогда возникает тяжкая скорбь". Мудрый друг возражает: "Причина всех твоих бед — неверная мысль, которая в прошлом погубила множество людей и многих еще погубит: ты считаешь себя несчастным".

Предсказание Петрарки оправдалось в наши дни: в лагерях и тюрьмах множество людей погибло и вследствие того, что считали себя несчастными обреченными.

Отчаянье безысходное — катастрофа. Однако там же, в тюрьме и лагерях, я постиг спасительную тайну. Мне открылось: жизнь возобновляется по ту сторону отчаянья.

Я использую здесь определение, не мне принадлежащее. В драме Сартра "Мухи" герой (Орест) провозглашает: "Человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаянья". Не думаю, что Сартр вложил в эти слова именно тот смысл, который в них вкладываю я, и притом не умозрительно. Могу сказать, что в испытаниях, постигших меня, когда я сопротивлялся судьбе, мне как бы открылся древний опыт человечества, но и современности. Преодолеть отчаянье должны были жертвы террора и в лагерях при фашистском и сталинском режиме, и в гитлеровском гетто. Поиски преодоления отчаянья пережили и люди, не находившиеся в заточении, но разделявшие испытания своей страны.

Приведу одну своеобразную литературную иллюстрацию, в которой перекликается современный опыт с давнишним.

Западногерманский писатель Носсак в написанном в начале шестидесятых годов романе "Младший брат" нарисовал картину послевоенного общества, в котором обанкротилась господствовавшая еще недавно идеология, а будущее

неясно. В этих условиях — пишет автор — огромное "пустынное пространство" разделяет людей, а в нем лишь кое-где сохранились "островки человеческой инициативы". Душевное состояние людей в такой атмосфере Носсак иллюстрирует размышлениями двухсотлетней давности шведского мистика Сведенборга.

Есть нечто общее между психологией людей, вынужденных бороться за свое существование в безыдейной атмосфере общества, переживающего кризис, и душевным миром узника, который переоценивает свою жизнь. Поэтому я вслед за немецким писателем приведу мысли Сведенборга. Не цитирую, но пересказываю точный смысл: пусть люди, на спасение которых надежда еще не потеряна, окажутся в пустынной местности, где взор прикован к картине полной безнадежности, и, когда они там находятся, до тех пор, пока печаль не достигнет вершин отчаяния, — тогда перед ними откроется единственная возможность спасения: они обретут способность отличать добро от зла. Отличать добро от зла!

Представления мистика о спасительной благодати мне чужды. Правда, стремясь в крайне тяжелых условиях сохранить неприкосновенным свой внутренний мир, я познал и состояние высокого духовного подъема. Я объяснил бы это состояние, повторяя слова Шопенгауэра, сказавшего, что христианские мистики называют благодатью и возрождением (вторым рождением!) то, что на самом деле есть непосредственное выражение свободы воли. Вот почему мне понятна и близка нарисованная Сведенборгом картина душевного

смятения и духовной эволюции.

Для меня стала пустыней камера в секретном застенке. Там я познал высшую степень отчаянья, но и обрел душевное спасение.

Высшая степень отчаяния — самоубийство. Мысль о самоубийстве — тяжкий грех, одинаково и для христианина, и для атеиста. Счастливы мудрецы, способные воспринять конец человеческого пути как переход в новое бытие или растворение во вселенском бытии. Умом и сердцем я воспринимаю самоубийство, отказ от жизни, как непомерно мучительный, трагический отказ от единственного оправдания и личности, и мира. Мучительна мысль о самоуничтожении, страшна мысль о том, что самоубийство есть уничтожение мира в целом...

В лагерях, где я пробыл восемь лет (а раньше — два года в тюрьмах), мне ни разу не приходила в голову мысль о самоубийстве. Каждый день был днем борьбы за жизнь; как же, ведя такой бой, думать об отказе от жизни? И была цель: выйти невредимым из испытаний, и жила надежда — в полноте сил встретиться с любимыми людьми. Позднее, в ссылке "навечно", длившейся семь лет, часто преобладало болезненное ощущение тупика. Сознание было отравлено этим ощущением, особенно чувствительным, когда человеку перевалило за пятьдесят. Вероятно, в ссылке тяга к самоубийству не принимала бы порой маниакальные формы, если бы не отравы в буквальном смысле слова: я работал на очень вредном производственном участке, дышал целый день парами сернистого натра и других химических веществ, и в этой

отравленной атмосфере выполнял тяжелую работу (одно время я ежедневно кувалдой разбивал около полутонны каменного сернистого натра, и это была только часть моего "урока", который я перевыполнял). Порой, когда мерещилось, что жизнь окончилась еще до наступления смерти, меня охватывало самое опасное состояние духа: не продуманное (или еще продумываемое) решение покончить с собой, а бездумная тяга к самоубийству. Такая угроза нависла надо мной, когда я жил в ссылке в поселке Акчатау, в пустынной местности между Карагандой и Балхашем. Два способа самоубийства влекли меня, и мне бывало трудно избавиться от мысли о возможности осуществить свой замысел. Не раз во время мрачных ночных смен на обогатительной фабрике с оледеневшими стенами и замерзающими трубами я, вращая штурвал машины, представлял себе, как в час пересмены, именно в этот момент, когда территория фабрики заполняется людьми и появляются начальники-надсмотрщики, я бросаюсь вниз с огромной высоты, оттуда, где работает машина, называемая "верхний классификатор" ... Но, пожалуй, еще опаснее было тягостное стремление броситься в заброшенный шурф (я уже наметил себе такой). Я провалился бы в глубочайшую яму, полную снега, откуда невозможно выбраться, и только весной, когда снег стаял бы, нашли бы мое тело ...

И в эти тяжкие дни можно было найти противоядие даже в окружающей действительности, особенно в книгах. Самая работа, хоть она и подтачивала организм, одно время доставляла мне удовлетворение. Технология обогащения руд редких

металлов требовала сочетания технических навыков и даже понимания физических законов. Я познакомился со специальной литературой и относился к работе с интересом. (Я не был исключением, энтузиастом обогащения руд стал и сосланный, как и я, в Казахстан А.В. Эйсер.) Сначала с ссылкой эстонкой, а потом вместе с вольнонаемными рабочими-казахами мне удавалось в условиях, когда процесс часто не ладился, давать новый металл даже сверх плана. Но позднее я обнаружил, что работавшая старшим инженером жена главного директора рудоуправления потворствовала приписке выработки другим бригадам, может быть и за счет нашей бригады. Я изобличил ее в разговоре с нею с глазу на глаз (ведь я был ссылкой, лишенный гражданских прав по суду), затем я перешел на еще более вредную работу, но дававшую мне независимость от начальства.

Трудно было справиться с гибельным отчаянием в ссылке "навечно". Меня спасла жена. Она приезжала ко мне в Центральный Казахстан, жила там подолгу (однажды почти год). Мы прожили там счастливые дни, там в рабочем бараке я под влиянием жены взялся за перо, и мы вместе написали неплохую повесть. Действие ее разворачивалось, в частности, на той самой фабрике, где я работал, и даже близ того верхнего классификатора, с которого я, живя в одиночестве, подумывал сброситься вниз. Ко мне приезжала дочь, и мы с нею совершали веселые прогулки по сопкам, проходили и мимо рокового шурфа, обыкновенной, пустой ямы (дело происходило летом).

Воистину жизнь цвела по ту сторону отчаянья!

Задолго до встречи в пятидесятых годах с любимой мне нужно было в одиночестве научиться отличать добро от зла. "Обучение" началось в 1940 году в Сухановском застенке.

Когда на второй год пребывания в следственных тюрьмах меня вновь подвергли пыткам в особоружимной тюрьме, когда я убедился, что, и отстаивая свою невиновность, я не добьюсь освобождения, когда выяснилось, что, хотя я и выдержал пытки, не дал ложных показаний, меня ждут новые муки, вот тогда и обрушилась на меня душевная катастрофа.

"Печаль достигла вершин отчаянья". Я стал думать о самоубийстве. И хотя тогда мне чудилось, что прозвучал голос рока, я теперь понимаю, что то было менее опасное состояние, нежели то, которое угнетало меня спустя многие годы в ссылке. Дело даже не в том, что в сухановской камере, где заключенный находился чуть ли не под непрерывным наблюдением, было трудно покончить с собой. Как я теперь понимаю, в Суханове я не был во власти непреодолимой тяги к самоубийству, я только рассуждал об этом. Произошло некое раздвоение личности. То был поединок между узником, взор которого прикован к картине полной безнадежности, и человеком, с юности верившим в моральные ценности и, главное, проникнутым стихийным, фаталическим оптимизмом. Недаром, борясь с грозной мыслью об уходе из жизни, я выразил свои мысли в стихотворении-диалоге, которое назвал: "Разговор человека с самоубийцей". (О диалоге Петрарки я тогда, разумеется, понятия не имел.)

Аргументы самоубийцы, тогда уже мною отвергнутые, были просты: нет смысла жить жертве клеветы, "прокаженному", его жизнь обесценена ... И вот на это ответ:

... Отверг я жалкий жребий,
Попытку глупую укрыться в вечной мгле:
Нет умирающим спасения на небе,
Самоубийце нет прощенья на земле.

.....

Неисчислимы тяжкие потери,
Но не стреляй в надежду и мечту!
Кто смерти открывает двери,
Из пустоты уходит в пустоту.
Кому борьба за жизнь — обуза
И лжи бесстыдство — нипочем,
Тот жертва страшного союза,
Союза жертвы с палачом!

Могу сказать, что в последнем четверостишии — суть той жизненной позиции, которой я руководился, когда не шел на уступки следователям, и эта же позиция помогла мне в Суханове отвергнуть страшное искушение самоубийства. Такова и линия моего поведения в лагере.

Решимость не идти на "союз с палачами" в лагере сочеталась с давнишним отвращением, которое внушал мне всякий тюремщик. Ненависть к тюремщикам заложена во мне с юности, даже с детства, под влиянием великой русской литературы, да и немецких писателей, например, Шиллера. Повлияли и многочисленные рассказы в социал-демократической среде о подвигах революционеров и низости жандармов. В лагере я с изумлением обнаружил, что некоторые заклю-

ченные командуют заключенными. Долгое время я считал каждого лагерного начальника, не только надзирателя или часового, но и командира на производстве — тюремщиком, надсмотрщиком над рабами, к числу которых принадлежал и я. Так я думал не только, когда был простым рабочим, но и когда бывал низовым бригадиром или изредка десятником на производственном участке. Я делил с работягами их тяготы и заботы, как и многие другие интеллигенты. Был ли я рабочим или бригадиром — с начальством я всегда не ладил. Пришлось мне посидеть в изоляторе и за "туфту" и за дерзкие речи.

Я страдал, болел, погибил, но выжил. Конечно, я не выдержал бы каждодневного и многолетнего пребывания на лагерных работах в лесу, в поле, на лесозаводе, на погрузке вагонов, если бы не крепкое здоровье и приобретенная мною способность по-лагерному приспосабливаться к тяжелым, суровым обстоятельствам. Остерегаясь союза с тюремщиками, я не хотел устраиваться в конторе и благодаря этому был избавлен от постоянного, изматывающего трепета, от подтачивающего психику ужаса: а вдруг меня пошлют на общие работы? Ведь я уже был на самой низшей ступени лагерной иерархии, а это, сколь ни было тяжело и опасно, все же придавало мне спокойствие и независимость. Только к самому концу пребывания в лагерях я перестал быть рабочим на производстве, хотя и не работал в конторе.

Я бы не хотел, чтобы этот рассказ о том, как я по мере своих сил избегал "союза жертвы с палачом" и пресдолевал отчаянье, чтобы мой рассказ

был воспринят как некое "поучение". Ничья личная судьба не может и не должна быть моделью для другого человека. Когда я говорю: в тюрьме и в лагере, да и вне тюрьмы при деспотическом режиме — союз жертвы с палачом губительное зло, когда я напоминаю о многообразных, открытых и скрытых разновидностях подобных жалких сделок, — я ни в коем случае не претендую на роль человека, клеймящего человеческие слабости. Я не вправе занимать такую позицию, и она мне не по душе. В книге "Катастрофа и второе рождение" я рассказывал о том, как сам чуть не был сломлен. Повествуя о судьбе других заключенных и о тех, в чьих показаниях была клевета по моему адресу, — я никого не осуждал, понимая, как трудно противостоять палачам, как легко попасть в ловушку при самых различных обстоятельствах. (Не говоря уже о том, что "показания" могли быть фальшивкой.) Если же я здесь попытался рассказать о другом, о том, как человеку, даже впавшему в отчаянье, открывается путь к спасению, то вовсе не противопоставлял праведников (к тому же мнимых) грешникам. "Не судите, да не судимы будете!"

"Жить не по лжи"* — проповедь, произнесенная человеком "по ту сторону отчаянья", когда он готовился к новым, грозным опасностям, к возможной разлуке с родной страной. Вероятно, эта проповедь всколыхнула души людей, дотоле погрязших в житейской рутине. Но даже самая сильная и гневная проповедь, если она абсолютна-

* Открытое письмо А.И. Солженицына от 12 февраля 1974 г.

зирует крайние требования, не сообщает людям реальные исполнимые правила поведения и даже может ввергнуть в смятение. Мне думается, что в призыве не жить по лжи главное — это самая мысль о необходимости отличать добро от зла. В этом — условие спасения. Для меня важно именно определение таких условий, а не абсолютных правил поведения.

В заточении, да и под гнетом произвола за пределами тюрьмы, выдерживает испытание тот, кто убежден, что есть моральные и общественные ценности, ему близкие. Без смущения признаю, что эти ценности могут быть самыми разными, правда, не обязательно взаимоисключающими: вера в Бога, убежденность в силе человеческого духа, любовь, родина, революция, научная истина, искусство ... В жизни одного человека каждое из этих понятий может быть ему то более, то менее близким, и подавно представляться одним людям ложным, условным, а другим — святыней.

Повторяю, я не склонен проповедовать всеобщие правила нравственности. Но я свидетельствую: если в страшном мире человек оказался лицом к лицу с насильниками, лицом к лицу с оголтелой злобой и бесстыдной ложью, важно, спасительно, чтобы он не отрекся от нравственных ценностей.

* * *

Повествуя о заблуждениях прошлого и о том, как открывается путь к столь трудно достижимой внутренней свободе, я в самом процессе из-

ложения совершаю поиск выхода из лабиринта. На этой стадии я оказался перед необходимостью преодолеть противоречие. Я только что сказал, что человек способен выдержать испытания, если сохраняет верность близким ему моральным и общественным ценностям. Но ведь на протяжении всего рассказа я настойчиво указывал на отрицательные последствия привязанности к отвлеченным идеям, далеким целям, непререкаемым принципам. Как сочетать эти два утверждения? Мне представляется, что я ответил на этот вопрос, когда я осуждал требование приносить жертвы во имя далекой, то есть абстрактной цели, когда напомнил о словах Маяковского, что он наступил на горло собственной песне, когда обрисовал подмену средств и целей. Между тем, говоря об условиях спасения под гнетом произвола, я имел в виду противоположное: внутреннюю свободу, преданность человека *близким* ему ценностям, его способность свободно "спеть свою песню".

Я вспоминаю, как в тюрьме меня одолевали сомнения в правильности выбранного мною пути, но тогда я не усомнился в справедливости революционных идей, мною владевших, хотя уже созревали сомнения в благотворности революционного действия. Я уже тогда подверг сомнению историческую роль советского государства. Задолго до ареста меня, как и многих других моих современников, не оставляло чувство допущенной ошибки, тревожная мысль, что мы живем иначе, чем мечтали и к чему стремились в начале созна-

тельной жизни, и что общество совсем не такое, каким мы его желали бы видеть. Все же это еще было одной из форм самообмана. Человек тешился мыслью, что он предостерегает себя от приспособления к господствующим идеям, к эпохе, а в действительности он оставался продуктом общественного развития.

И в тюрьме я не переставал быть "продуктом эпохи". Я винил себя за то, что включился в бюрократическую систему. Но бюрократической косности я противопоставлял революционное новаторство. Мне еще не открылось, что бюрократический тип ("авторитарный характер") с его вкусом к командованию и навязыванию своей воли, наряду с готовностью слепо подчиняться, что этот непривлекательный человеческий тип есть не только порождение бюрократического аппарата, но его может породить и участие в фанатичном революционном действии.

Я полагал, что, если раскрыть тайну бюрократизации, то можно возродить творческое революционное начало.

Я и сейчас не могу справиться с этой дилеммой. Кризис моего мировоззрения еще не окончательно преодолен.

В самом деле, я склонен взять под защиту революционный характер. Задача не простая и вызывающая у меня внутреннее сопротивление, когда я думаю о том, что "революционерами" объявляют себя на Западе оголтелые, озверевшие экстремисты, настоящие преступники против человечности.

Характер, толкуемый мною в положительном смысле, не проникнут духом ненависти, должен быть лишен фанатичной узости и догматической ограниченности. Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустрашим тот плодотворный революционный новаторский дух, который одновременно есть и дух трагедии. Яркими подтверждениями этой мысли богата всемирная история и литература.

По многим причинам в советском обществе не в чести воспетый и осмеянный, плодотворный и губительный, рвущийся к звездам и погрязающий в земной трясине революционный характер, идеалист, революционный романтик. К нему сейчас в советском обществе относятся с гневом и осуждением пылкие молодые люди, отвергающие косную государственную систему, и со злобной иронией — самодовольные охранители системы; революцию отрицают и благородные противники насилия и корыстолюбивые бюрократы, опирающиеся на насилие государственной власти.

Между тем, ряд лет мятежные настроения были в нашей стране массовым явлением, когда возникли надежды, что Россия, вступив на путь революции, исполняет историческую миссию. Независимо от таких "космополитических" чаяний, в те годы революционные характеры сложились в различных слоях общества, в особенности, в рабочей среде, но и в крестьянстве, когда казалось, что осуществимы давние ожидания справедливого передела земли. Мечта о справедливости сочеталась с революционностью. (Вспоминаются образы крестьян в романах С. Залыгина.)

Так рассуждаю я теперь, хладнокровно нанизывая аргументы и контрдоводы. Но в то время, о котором я пишу, все эти проблемы день-деньской в одиночке занимали меня, волновали, тревожили. В тюрьме общественная трагедия стала личной. Разумеется, так бывает и за пределами застенка. Это прекрасно знакомо людям моего поколения. Я как-то отметил для себя слова Ницше, смысл которых был тот, что правда открывается, только если вся история воспринимается как лично прожитая, как результат личных страданий. Так было, когда я оказался "по ту сторону отчаянья". Я описываю пережитое мною в исключительно мрачных и опасных условиях и вправе сказать, что то была "экзистенциальная крайняя ситуация", когда может открыться истина. Поэтому я и решился использовать такое понятие как "второе рождение".

Такое состояние бывает и в переломном отроческом возрасте и в зрелости, когда человек заново продумывает свою жизнь и ставит простые вопросы: "Зачем все это?" и "Что же потом?" (Лев Толстой эти вопросы поставил, можно сказать, в космическом масштабе.) В нормальных условиях вопрос "Зачем все это?" касается и прошлого, но в особенности настоящего, текущей жизни. "Потом" — это неясное будущее. Между тем в тюремном заточении человек ставит вопросы прошлому: "Зачем все это было?" А "потом", оно, это "потом", уже наступило в тюрьме. Когда предо мною встали эти вопросы, мое внимание было приковано в первую очередь не к абстрактным общественным или философским проблемам, а в большей мере — к вопросам личной

жизни, личного бытия человека, к его личной моральной ответственности.

Я винил себя снова и снова за проявленную в недавнем прошлом душевную замкнутость, за то, что сознательно или бессознательно отказывался от сентиментальности, как порой казалось, слабостей, от поэтического восприятия мира во имя умственной дисциплины, ради трезвости в оценках и решениях, во имя готовности выполнять свой долг перед обществом.

Невозможно по прошествии многих лет и в совершенно иной обстановке воспроизвести пережитое мною душевное состояние. Приведу запись в лирическом дневнике тех дней.

Тогда, в тюремной камере, я вспомнил написанные мною в тридцатых годах стихи, озаглавленные "Глаза горбуна". Я отверг в темнице отраженные в этих стихах настроения и сделал мысленную запись в дневнике, которую хорошо запомнил и, выйдя на волю, зафиксировал на бумаге.

Итак, когда я вел деятельную жизнь, был журналистом-международником, пропагандистом и даже слишком усердным общественником, я записал в своем дневнике:

Глаза горбуна

В глазах под нахмуренным лбом
Тревожное воспоминанье,
Встает пограничным столбом
Непрсйденное расстоянье.

Неотвратимое прощанье
Легло на памяти горбом.
С самим собою расставаясь,
Растроган строгостью своей,
Готов шагать, не отрываясь
От марширующих людей.
Законный горб лежит прилажен
К привычной ко всему спине.
Мой долг — мой горб. Он нужен, важен,
Он дан самой природой мне.
Друзья мои, не смейтесь, верьте:
От слабостей и от обид
Мой горб меня до самой смерти
Щитом надежным охранит.
А долгу преданная память
Следит настойчиво за мной,
И жжет меня сухое пламя
В горба коробке костяной.
Огонь сильней и горб тяжеле,
Растет упорство горбуна
Навстречу городской метели
Идти без отдыха и сна.
И только боль былой потери
В глазах тоской отражена.

Эти строки я твердил на пустынных улицах Москвы, возвращаясь поздней ночью домой из редакции "Известий", где я с увлечением, даже с азартом, готовил очередной номер газеты по иностранному отделу, а то и писал передовую. Начиная следующий день, который предстояло заполнить и работой и встречами с людьми, в том числе

и с "марширующими безумно", я иной раз повторял как заклинание: "Мой долг — мой горб". Жить было интересно, но жить надо было "с самим собою расставаясь".

И вот в тюрьме я выслушал признание "горбуна", его сетования. Я вслушался в жалобы горбуна, заглянул в глаза, в которых отразилась "боль былой потери", и тогда-то состоялась новая встреча с самим собой.

На свободе я говорил себе, что мой горб есть мой неоспоримый долг, а в тюрьме я с горечью заметил, что мой долг, как я понимал его в прошлом, был на самом деле горбом, пригибавшим меня к земле. Научившись в тюремной пустыне отличать добро от зла, я по-новому оценил готовность при всех обстоятельствах "личное подчинять общественному" (кстати сказать, формула, которую поразительным образом одинаково использовали и советские и гитлеровские пропагандисты).

Долг перед обществом (само по себе бесспорное понятие) становится бременем, когда свободная личность не могла уже выбрать свой путь и по собственной воле участвовать в желательных общественных преобразованиях. Революционный романтик был вынужден "расстаться с самим собой" и попал в тенета бюрократических обязанностей и самообмана.

Отвергнув догмы, которыми руководился, когда был преданным слугой государства, охваченный стремлением прорваться внутрь, в собственное сердце, я в тюрьме сделал в воображаемом лирическом дневнике такую запись:

Второе рождение горбуна

Мне снится новое рождение,
Дышу вольней, живу смелей,
Хоть слышу грозное хрустенье
Моих расправленных костей.
Я был горбун, я был обязан
Скрыть нежность в тайниках души,
Веревкой к жизни был привязан,
Ее петлей себя душил.
Настало время распрямиться,
Не спину — мысли разогнуть.
Еще тесна моя темница,
Душа уже пустилась в путь.
Мой горб — придуманная тяжесть!
Себя не потерять в пути,
Вот все, к чему меня обяжет
Мой долг — пылающий в груди.
Поэт, страданьем умудренный,
Наследник трезвого бойца ...
Как дорог мне он, вновь рожденный
Сын, непохожий на отца.

Странно, но и знаменательно: человек жизнелюбивый, сумевший встретить с поднятой головой угрозы палачей, этот человек на воле, среди людей, ощущал себя духовно горбуном, и этот же человек, в тюрьме, избитый и загнанный в одиночку, освободился от горба, расправился, поднимаясь навстречу душевному обновлению.

Я освободился от представления, будто надлежит во имя абстрактных дальних целей жертво-

вать теплом и благами, которые таятся в простых человеческих чувствах и в выполнении долга перед близкими. Вместе с тем я возвращался к непосредственному поэтическому восприятию мира. Тем не менее, я не выключил себя из общества и даже общественной жизни.

Я как бы искал сочетания "града земного" с "градом небесным". В преодолении отчаянья, в мечте о духовном возрождении, в томительной жажде бессмертия -- во всем этом есть элементы, обычно приписываемые религиозному сознанию. Есть сходство, общие черты между душевным миром верующего человека и творческим восприятием трагических сторон жизни и вечных вопросов бытия и цели. Томас Манн высказался однажды одобрительно о "психологическом переключении" религиозных понятий в "нравственно-мировую душевную сферу" (письмо Карлу Кереньи от 7 октября 1936 года).

В тюрьме я в поисках внутреннего раскрепощения нашел поддержку не у философов (тем более не у богословов), а в поэзии, в чтении Александра Блока. Как истинный поэт, Блок не есть "учитель жизни", и я не думаю, что Александр Блок -- тот поэт начала века, который в наибольшей мере созвучен современности в последней четверти века, хотя он и вовсе не чужд ей. В моем рассказе его имя часто упоминается потому, что в часы раздумий он был со мной ...

В тюремной камере я с увлечением читал статьи Александра Блока и стихи, отнюдь не всегда проникнутые безнадежностью. Таков весь цикл

”Ямбы”. Когда мне снилось второе рождение, я повторял блоковское четверостишие:

”Земное сердце стынет влюбь,
Но стужу я встречаю грудью,
Храню я к людям на безлюдь
Неразделенную любовь”.

Но как предвестие будущего звучали строки:

”Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева есть мятеж”.

(Это последнее двестишие я привел в статье в ”Новом мире” за 1968 год (№ 10) . А в 1974 году французская газета ”Ле Монд”, публикуя 22 марта статью, посвященную журналу ”Новый мир” времен А. Т. Твардовского, предпослала статье в качестве эпиграфа приведенные выше строки. Однако редакция приписала их мне, не указав, что я цитировал в статье стихотворение Александра Блока.)

Разумеется, не отрывки из стихов или цитаты, приведенные мною здесь, оказывали на меня влияние, а весь внутренний мир, отраженный в лирике Блока, особенно в ”Ямбах”. Вслушиваясь в музыку стихов и вглядываясь в запечатленные в них образы, я — не сознавая этого — воспринимал отраженное в поэзии движение души и откликался на него в ту пору, когда мечтал о ”новом рождении”. Все это мне стало яснее теперь, когда я узнал (из письма Блока Андрею Белому от 1911 года), как Блок толковал пережитую им

”трилогию вочеловеченья”: ”... от мгновенного слишком яркого света — через непроходимый ... болотистый лес ... к отчаянию, проклятию, ”возмездия” и ... к рождению человека ”общественного”, художника, глядящего в лицо миру ... ”

Однако в метаморфозе, произошедшей со мной в сухановской тюрьме, была еще одна сторона, относящаяся не к сфере интеллекта, пожалуй, и не эмоций, а скорее инстинктов. Душевный переворот в тюрьме был и проявлением стихийной, органической потребности вырваться из пут, физически выпрямиться. Я и это ясно понял только теперь, в эти годы.

В повести Камю ”Падение” описывается пребывание узника в средневековой тюрьме, в одиночке с низким потолком и столь узкой, что человек не мог, лежа, вытянуться. Сухановская одиночка была современным вариантом средневековой. ”Непреложным приговором узник был осужден сидеть, скрючившись, день за днем, постепенно сознавая, что его одеревеневшее тело — это его виновность и что невиновность — это наслаждение выпрямиться во весь рост ...” ”Невиновность была превращена в какого-то горбуна!”

И у Камю — тоже образ горбуна!..

Замечательно, что описание Камю ощущений узника в одиночке есть и аллегория состояния человека, ставшего ”горбуном” вне тюрьмы под бременем гипертрофированной ответственности, комплекса вины, ложно понятых обязательств. Я испытал и то и другое. В Сухановской темнице чисто физиологическая потребность выпрямиться сочеталась с жаждой духовной свободы, с возник-

шим новым представлением о долге человека и смысле жизни. Так стало возможным "второе рождение горбуна".

Радость духовного обновления не была ни мимолетным порывом, ни случайностью. В тюрьме, за шестнадцать лет до возвращения в общество, начался новый период в моей жизни. Было и много отклонений и наслоений. Это неизбежно. Но мое мировосприятие оставалось и остается неизменным.

А в 1941 году эволюция, пережитая мною, имела спасительное значение в самом непосредственном, реальном смысле: я духовно окреп к тому времени, когда надо мной нависла угроза судебной расправы.

Пора рассказать, как завершилась судебносудебная эпопея, начало которой послужило сюжетной канвой для книги "Катастрофа и второе рождение". Эти очерки представляют собой заключительные главы все той же книги. Но дело не только в "сюжете". То, что на человека, пережившего духовное возрождение, обрушился молот беспощадного государства, это грозный символ нашего времени.

ИЗ ТУННЕЛЯ В ТУННЕЛЬ — К ПРОСВЕТУ

Суд. Лагерь. Ссылка. Страна.

Мое пребывание в московских тюрьмах подошло к концу летом 1941 года. Тогда тема "тюрьма и страна" воспринималась мною в трагическом свете войны.

В мае 1941 года меня из одиночки на втором этаже, где я пробыл год, внезапно перевели в камеру на первом этаже; там я застал другого заключенного. Моим новым соседом был провокатор Федор Крейнин. Я не называл в моей книге фамилии других сомнительных субъектов, не упоминал вовсе о некоторых встречах, чтобы случайно не опорочить человека без достоверных данных. Но о Федоре Крейнине я отзываюсь со всей определенностью потому, что не только наблюдал его в тюремной камере, но и был с ним в одном лагере (Устьвымлаг), где по его вине погибло несколько человек. Позднее, уже в ссылке, я получил письмо от бывшего солалатерника, который оказался проездом в Караганде и каким-то образом, очевидно, в НКВД, получил мой адрес. Уже это было подозрительно. Из довольно странного письма одной из жертв Крейнина (а может быть -- поспбника?) мне стало известно, что, и

находясь в ссылке, Крейнин писал доносы и участвовал в конструировании фальсифицированных "дел". Он не только действовал по заказу начальства, но, видимо, и сам сочинял версии для будущего следствия.

У обоих подсаженных ко мне в разное время провокаторов (статистик из Баку и Ф. Крейнин) было нечто общее. Прежде всего — трафаретные приемы: оба старались меня запугать и напрямик советовали дать требуемые показания. У обоих была внешность опустившихся людей. Они пользовались привилегией: их не стригли под машинку, нечесанные взъерошенные волосы стояли торчком.

Разглагольствования Крейнина носили подчас истерический характер. Он находился в болезненно возбужденном состоянии, то в ужасе рассказывал о расстрелах, то пускался в нескончаемые воспоминания о прежней вольготной жизни.

Видимо, Крейнин до ареста состоял в том отделе НКВД, который "ведал культурой". Он был соответственно натренирован, хвастал знанием литературы, своей музыкальностью, напевал вполголоса мелодии из кинофильмов, читал на память отрывки из "Анны Карениной"; при этом он делал ошибки, типичные для неинтеллигентного человека с обывательскими представлениями об искусстве. От моего собеседника-провокатора я узнал, что он и его сослуживцы запросто бывали в салоне народной артистки СССР. Крейнин был бахвал, но у меня создалось впечатление, что, увлекшись, он разболтал кое-какие служебные секреты.

За тот месяц, что Крейнин провел со мною в Сухановской камере, его несколько раз вызывали к следователю, и он возвращался все более встревоженный. Возможно, Крейнин узнал от следователя, что началась эвакуация тюрьмы, но прямо этого не говорил. Наоборот, он объяснял шум и движение в тюрьме тем, что происходят расстрелы.

Вскоре мы заметили, что надзиратели стали носить противогазовые сумки. Крейнин тотчас заявил, что началась война, но не мог сказать, с кем мы воюем.

Если бы весть о войне я услышал не от Крейнина, а от другого человека, я бы, наверное, не усомнился в его словах. Но Крейнин так упорно меня стращал — часто явными выдумками, что разговоры о войне я счел его фантазиями. Я отвечал ему, что просто в районе тюрьмы происходят военные учения и тюремный персонал в них участвует.

К эвакуации Сухановской тюрьмы приступили еще до начала войны. Встретившись позднее в лагере с жителями прибалтийских республик, я узнал, что их арестовали и вывезли в лагеря примерно в мае 1941 года, то есть тогда же, когда началась эвакуация заключенных из подмосковной тюрьмы. Все эти мероприятия несомненно проводились с санкции Сталина. Он с преступной халатностью откладывал решительные меры для обороны от гитлеровской агрессии, но зато по части внутривластных репрессий проявил новую инициативу и распорядительность на случай "внезапного нападения".

Каждый день мы настороженно прислушивались к тому, как хлопают двери камер и заключенных уводят неизвестно куда. Мой сосед находился в постоянном волнении и днем и ночью. И у меня зародилось подозрение, что в Суханове действительно приступили к "ликвидации" подследственных, до того находившихся "на консервации". Но именно потому, что провокатор старался вселить в меня страх, я не поддавался панике. Однажды на рассвете сосед разбудил меня: "Сейчас наша очередь, нас будут выводить на расстрел". Я помню свой ответ, но не решился бы его здесь привести, если бы Крейнин позднее в лагере не рассказывал о нем, сопровождая ироническими комментариями. Когда он меня разбудил, я сказал: "Вы не уполномочены будить меня перед расстрелом. Это сделают те, кому поручено".

Наконец, 7 июля 1941 года в камере появился начальник тюрьмы (тот самый, который присутствовал при избиениях и которого я "выгнал" из моей камеры). Начальник тюрьмы принес с собой для каждого из нас копию обвинительного заключения. Он не оставил его, а только давал прочесть и расписаться в том, что подсудимому известно его содержание.

Документ, называвшийся обвинительным заключением, занимал одну или полторы страницы (не помню точно). В нем упоминались кое-какие лживые показания о моей мнимой "преступной деятельности", и на этой основе было сформулировано обвинение по самой страшной статье: 58, 1-а, то есть — государственная измена. Грозный

вывод в документе, имеющем характер пустой отписки.

Помимо лживости по существу, в документе были явные упущения формального характера, из-за которых он в мало-мальски нормальных условиях не имел бы никакой юридической силы. "Обвинительное заключение", показанное мне в тюремной камере в июле 1941 года, было датировано апрелем 1940 года; со времени его утверждения протекло более года; оно было составлено в Лефортове до нового возобновления допросов, и мне его предъявили без того, чтобы было оформлено окончание следствия; итоги этого нового этапа и "физического воздействия" нигде не были отражены. В обвинительном заключении говорилось, что я содержусь в Лефортовской тюрьме, а я уже год находился в Суханове (Лефортово называли и в ответах моей жене, когда она справлялась обо мне зимой 1940-1941 года). Наконец, я заметил, что в обвинительном заключении был указан не тот номер дела, какой значился на следственном деле, предъявленном мне при первом и втором "окончании следствия".

В целом, обвинительное заключение, не подкрепленное никакими доказательствами, написанное канцеляристом, условным языком, убивающим смысл, затемнявшим значение страшного, голословного вывода, -- было продуктом бездушного и бюрократического сочинительства. Несомненно, такие черты были присущи всей документации во время сталинского террора.

Казалось бы, стиль документов, их лживость в деталях не заслуживают особенного внимания,

когда речь идет о полном беззаконии и терроре. Какое значение могли иметь перечисленные мною примеры фальсификации, если приговор был предreshен? Как видно из дальнейшего, формальная сторона дела имела некоторое значение.

Но, прежде чем об этом рассказывать, я задам вопрос: а что если приговор не предreshен? Ведь тогда именно бюрократическая фальсификация становится главным орудием беззакония, а в крайних случаях — убийства. Это соображение представляет не только исторический интерес. Речь идет о "наследстве Сталина", о наследственной болезни, не изжитой обществом. Беззаконие — это сложная система, которая вовсе не сводится к отдельным актам произвола и жестокости; система строится на разветвленных взаимосвязях, способствующих постоянному, порой незаметному пренебрежению законностью. Даже аппарат, проводник репрессий, не состоит сплошь из злодеев большего или меньшего масштаба. Самое опасное, быть может, именно то, что потворствуют произволу, нарушают законность, пренебрегают справедливостью, как правило, безличные чиновники, циники, которые приучены руководствоваться в своем деле не законами или моралью, а приказом свыше или круговой порукой бюрократической касты. К тому же, существует магическая формула: ссылка на "высшие интересы государства".

Предъявленный мне в июле 1941 года документ, обрекавший человека на казнь, был, вероятно, составлен не самим организатором репрессий, не палачом, а вышколенным чиновником

в аппарате репрессий. Может быть, писал мой скромный следователь Гарбузов, а может быть -- совершенно случайный человек, не задумываясь над тем, кому и в каких условиях будет предъявлена сочиненная им бумага ...

Прочитав внимательно "обвинительное заключение", я отказался на нем расписаться, как того требовал начальник тюрьмы. Я сделал на документе надпись, в которой перечислял дефекты "обвинительного заключения", и добавил, что оно не имеет законной силы. Начальник тюрьмы уже знал, с кем он имеет дело; его не удивила моя выходка. Он спрятал документ в карман и сказал, усмехаясь:

-- Эта бумага останется у меня.

Вскоре после визита начальника тюрьмы за нами пришли конвоиры. Вместе с ошалевшим Крейниным меня вывели во двор. Трудно было избавиться от мысли, что, возможно, я вскоре расстанусь не с тюрьмой, а с жизнью. Я запомнил ветвистое дерево с густой листвой у самого выхода из тюремного корпуса. Больше я, кажется, ничего не успел заметить. Нас посадили в "воронок". Машина уже была заполнена, и мы оказались в узком проходе между камерами, на которые внутри разделена была машина.

Я мог думать, что смертников не вывозят из Сухановской тюрьмы, так как именно там приговор приводят в исполнение. Поэтому я приободрился, попав в машину для перевозки заключенных. Все же, судя по рассказам того же Крейнина, я повел себя несколько странно. Наклонившись к

нему в темном проходе "воронка", я шепнул: "Напомните мне, пожалуйста, мелодию вальса из фильма "Под крышами Парижа" ... "

Нас доставили в Лефортовскую тюрьму, уже мне знакомую. Но поместили меня в камеру незнакомого типа. В ней не было окон. Это меня насторожило, потому что я слышал, что в лефортовские камеры без окон запирают осужденных перед расстрелом. Мне не пришлось долго предаваться догадкам в одиночестве, в камеру втокнули еще двух человек. Один из них был тихий, запуганный агроном, а другой — не кто иной, как мой бывший сослуживец В. В., который в третий раз за годы нашего знакомства оказался рядом со мной в трагические часы моей жизни.

После тринадцати месяцев пребывания в Сухановском застенке я, конечно, обрадовался собеседникам. Правда, агроном был неразговорчив, а потом и вовсе замолчал, заметив, что мы с В. В. знакомы. Прислушавшись к нашим разговорам и уловив, что оба мы в прошлом дипломаты, ездившие за границу, наш сосед, быть может решил, что, наконец, увидел неподдельных шпионов.

В. В., в отличие от меня, уже точно знал, что началась война с Германией. Он сразу же мне об этом сообщил. Когда он сказал о войне, глаза его загорелись, и на изможденном лице появилось знакомое мне выражение; охотник до острых впечатлений ошеломил собеседника и наблюдал, какова будет реакция. Но вскоре глаза его потускнели, и он навсегда остался в моей памяти таким, каким был в лагере, где погиб от дистрофии.

Итак, я, обвиненный в государственной измене и будто бы повинный в связи с Германией, должен был предстать перед Военной коллегией Верховного суда в дни войны с Германией. В этот час я не вправе был тешить себя иллюзиями. Так говорил я себе, именно говорил, объяснял по возможности бесстрастно, беспощадно. Но я и тогда не мог освоить мысль о своей смерти, да еще насильственной. Можно представить себе в воображении свои похороны, но не казнь. В Лефортовской камере, накануне суда, я не был в состоянии (или боялся) думать о том, как со мной поступят после вынесения смертного приговора. Но меня мучили мысли о моей семье.

Почему-то я не предполагал, что мою жену репрессируют после расправы со мной. Мои мысли были прикованы к другому. Я вспомнил, как в годы охоты за мнимыми вредителями и травли специалистов публиковались в газетах списки расстрелянных инженеров и хозяйственников. С ужасом я подумал, что моя жена и дочь могут прочесть и мою фамилию в опубликованном в дни войны списке "разоблаченных" и расстрелянных "германских шпионов". Погруженный в мучительные мысли о горе моих близких, я словно забыл ненадолго, что причиной была бы моя гибель. Страшная игра воображения на время вытеснила страх перед казнью.

Однако эти мысли меня снова настигли. Это было невольно. Больше нельзя было размышлять, надо было что-нибудь предпринять. Пробудилось стремление сделать последние усилия в борьбе с безликим роком.

Я сказал себе: мое дело отличается от многих других. Надо помешать суду отмахнуться от этого. Я потребовал у дежурного бумагу и получил ее, несмотря на поздний час. В заявлении, адресованном в Военную коллегия, я вкратце указал, что защитил свою невиновность, и перечислил правонарушения в моем деле и в обвинительном заключении.

Утром нас по одному вывели из камеры. В те дни в Лефортовской тюрьме, как и в Бутырках, заседало несколько комиссий, каждая из которых именовалась "Военная коллегия Верховного суда". Таким образом, одновременно выносились приговоры по нескольким делам. Меня не сразу повели на суд, а поместили в подвале в бокс. О Лефортовском подвале у заключенных было определенное мнение: там помещают обреченных на смерть, и там же убивают. В подвале моим первым соседом был какой-то немолодой деятель среднеазиатской республики. Он не в состоянии был разговаривать.

Через несколько часов меня из подвала повели вверх и ввели в довольно обширное помещение, где уже восседали за длинным столом (как мне показалось -- на возвышении) три человека в военной форме. Рядом со мной с обеих сторон стали конвоиры. "Судьи", видимо, только что закончили "слушанье" какого-то дела и сразу же занялись мною. Председатель суда Кандыбин, очевидно, назвал себя, иначе мне не была бы известна его фамилия: приговора я не видел. Ни до, ни после суда я не слышал этой фамилии. То был полный пожилой человек в роговых очках;

выражение лица не было ни грубым, ни злое- щим, мрачное лицо чиновника-юриста. Председа- тель (или секретарь, не помню) прочел знакомое мне "обвинительное заключение". Мне предложи- ли кратко высказаться перед оглашением приго- вора. Я сказал о своей невинности, о том, что я не признал себя виновным, что бесплодно требо- вал очных ставок с клеветниками. Председатель и члены суда слушали с привычным равнодуши- ем. Но когда я сказал, что год пробыл в Сухано- ве, что я и там не дал лживых показаний и затем перечислил упущения в обвинительном заключе- нии, Кандыбин снял очки и, наклонившись к од- ному из членов суда, задал ему шепотом какой- то вопрос. Этот молодой человек, вероятно, был представителем следственной части НКВД. Он шепотом дал председателю какие-то пояснения. Тогда Кандыбин неожиданно заявил, что вынесе- ние приговора откладывается и что в заседании суда объявляется перерыв.

Перерыв длился долго, сутки. Июльскую ночь перед вынесением приговора я провел в боксе в подвале. В подвале смертников?

У меня было достаточно времени для томи- тельных поисков ответа на вопрос: спасся ли я от гибели оттого, что на суде опровергал обвине- ние, или, наоборот, погубил себя, решившись на заседании Военной коллегии заявить во всеуслы- шание, что выдержал "физическое воздействие" (слова "пытка" я избегал) и что обвинительное заключение не имеет законной силы? Ведь мне было известно, что судебная процедура — чистая формальность, суд обязан оформить решение,

утвержденное начальством при окончании дела. Я слышал достаточно достоверные рассказы о том, как жестоко расправляется аппарат репрессий с людьми, пытающимися на заседании суда предать огласке то, что происходило в тюрьме или в кабинете следователя. И, тем не менее, интуиция мне подсказывала, что случилось чудо: мне удалось забросить песчинку в смертоносную машину, и она забуксовала. Мое заявление было неожиданным для председателя суда, обнаружилось, что какие-то правила игры, бюрократические правила не были соблюдены в моем деле. А может быть, проще: даже в самых тяжелых условиях твердое сопротивление беззаконию, защита человеком своих прав — не всегда совсем безнадежное дело?

Этой трагической ночью я был не один. К счастью, моим соседом был человек разговорчивый и державшийся бодро. Когда он назвал свою фамилию — Левентон, я вспомнил, что мы уже встречались. В первые дни февральской революции 1917 года мы с ним, оба — студенты, участвовали в занятии полицейского участка, Портового участка в Одессе. В моей жизни это было эпизодом, а для него началом профессиональной деятельности. Он был студентом юридического факультета и с первых дней революции включился в работу судебных органов. При встрече с Левентоном я не знал того, что мне стало недавно известно: Левентон в прокуратуре вел дела обвиняемых по дутому делу "Промпартии". Таким образом, жертвой репрессий стал активный участник судебных фальсификаций.

После суда мы попали с Левентоном в один и тот же лагерь. Там он поведал мне, что в Лефортове после встречи со мной он оказался вместе с Назаровым, бывшим секретарем М. М. Литвинова. (Об аресте Назарова я в мае 1939 года сообщил Максиму Максимовичу по служебному телефону.) По словам Левентона, Назаров очень обрадовался, узнав от него, что я на суде защищал свою невиновность и вынесение приговора было отложено. Назаров был присужден к максимальному сроку (кажется, тогда это было 20 лет), и, вероятно, его жизнь кончилась вскоре после суда.

(Впоследствии Левентона погубил все тот же Крейнин. Вскоре после того как нас привезли в лагерь, кажется, уже в октябре 1941 года, стало известно, что по доносу Крейнина арестовано несколько человек, в том числе Левентон. Они неосторожно высказывались в бараке о положении на фронте. Левентона и еще нескольких заключенных куда-то увезли, и больше я о них ничего не слыхал.)

9 июля 1941 года меня снова повели из подвала на суд. Теперь я уже не забавлял себя мыслью, что жить интересно, как это было в мае 1939 года за час до ареста, но и не дрожал противной неудержимой дрожью, как это бывало, когда меня во Внутренней тюрьме ночью вызывали на допрос, не вел я диалога с самоубийцей, как после пыток в Суханове, и не читал про себя стихов о бессмертии, — теперь в душе все умолкло, воцарилась тишина напряженного ожидания, я ничего не видел и не слышал, я ждал, только ждал.

В том же зале, за большим столом, накрытым красным сукном, сидели все те же три человека. Тот же Кандыбин без всяких вступительных слов огласил приговор. Постановление суда снимало с меня обвинение в государственной измене, отменяло применение статьи 58, 1-а. Прочитав эти спасительные слова, Кандыбин сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, как бы проверяя, оценил ли я смысл сказанного, понял ли, что останусь жив. Далее вкратце повторялись знакомые мне облыжные обвинения; приговор гласил: по обвинению в соучастии в деятельности антисоветской организации в Народном комиссариате по иностранным делам -- десять лет лагеря по статье 17 (соучастие), ст. 58, 6 (шпионаж), ст. 58, 8 (террор), ст. 58, 11 (организация). Сверх того -- лишение гражданских прав.

Когда приговор был оглашен, конвоиры приготовились меня увести, но я воспользовался заминкой и обратился с вопросом к председателю суда. Я сказал, что даже клеветники не обвиняли меня в причастности к террору, следовательно мне такого обвинения не предъявляли, почему же меня осудили и по этой статье? Кандыбин счел возможным дать мне пояснения. (Он, конечно, понимал, что я абсолютно ни в чем не повинен.) Он "разъяснил", что я осужден за соучастие в деятельности такой организации, которая занималась и террором (Каким? Где? Когда? Об этом ни слова ...). Поэтому -- продолжал председатель суда -- в приговоре есть ссылка и на статью о терроре. Мне надлежало удовлетвориться пояснениями председателя суда, который, вероятно,

счел, что я "не в норме". Человек благодаря решению суда в последнюю минуту избег казни, а он вступает с судом в пререкания по поводу формулировок стандартного приговора, даже несколько менее жестокого, чем многие скоропалительные решения судов военного времени.

Вынесение судебного приговора означало, что окончилось мое пребывание в следственных тюрьмах. Но тюремно-лагерный конвейер меня тотчас же подхватил, и я оставался в его власти еще четырнадцать лет.

* * *

Теперь ход жестокого следствия перестает быть канвой моего повествования. Застенок уже не образует непосредственный фон моих размышлений. Рамки постепенно раздвигаются. Одиночка расширяется до размеров большой пересыльной камеры. Камера превращается в тюремный вагон, мчащийся по железнодорожным путям. Исчезают тюремные стены, вместо них: колючая проволока, высокий тын в тайге, вышки с часовыми. Лагерь разрастается, поглощает лесные массивы, поселки, города. Потом лагерные барьеры сменяются незримыми, но непреодолимыми ограждениями. Сеть комендатур сторожит человека, прикрепленного к "ссылке навечно". Так меняется фон моих размышлений, но темы все те же: лабиринт средств и целей, тюрьма и страна, личность в тюрьме, внутренняя свобода человека в тюрьме, в стране...

В июле 1941 года кончилось мое вынужденное одиночество. Предстояли новые испытания. Возникли новые вопросы. Спасет ли от отчаяния — внутренняя свобода? Можно ли, отвергнув проклятый союз жертвы с палачом, противопоставить ему союз добрых идей? ("Добрый" не в смысле жалостливый, мягкосердечный, а стремящийся к добру, к справедливости.) Не скоро открылась такая возможность, но даже в обстановке лагерного одичания она не была вовсе исключена.

Выйдя из зала суда, я сразу оказался среди людей, среди различных людей, которых ждала общая участь — лагерь. Тюремный конвейер работал безостановочно. В тот же день нас из лефортовской камеры перевели в переполненную камеру Бутырской тюрьмы. Дверь камеры то и дело открывалась и появлялся новый заключенный, только что прошедший через судебный конвейер.

Встреча с людьми произвела на меня сильнейшее впечатление. Как часто на протяжении двух лет я мечтал об этой встрече! Несколько раз я ошибочно предполагал, что вот-вот состоится свидание с людьми в пересылке. Наконец, это случилось. Меня интересовало каждое новое лицо, меня радовала возможность менять собеседников, приятен был гул голосов. Окружающие меня люди были оживлены и охотно вступали в беседу. Мне казалось, что я никогда не видел сразу столько привлекательных лиц. Я находился среди людей, перенесших долгие муки и только что узнавших, что наступил поворот в их жизни. Я мог убедиться, что страдание облагораживает самых разных людей, с различным житейским опытом.

Конечно, часы оживленных бесед, сочувственных распросов, даже шуток, были кратковременным эпизодом в жизни будущих каторжников. Мало кто остался жив из тех, кто летом 1941 года побывал в Бутырской пересылке. А тот, кто выжил, лучше помнит не случайные светлые минуты, а тяжкие мрачные испытания, пережитые в лагере и ссылке.

В Бутырках летом 1941 года скоро затихли свободные беседы между заключенными. Шепотом передавали друг другу слухи о войне. Шепотом делились обрывочными сведениями о предстоящем этапе. Слухи и догадки становились с каждым днем все мрачнее и зловещее.

В конце лета нас ночью в наскоро оборудованных грузовиках повезли на вокзал. Я успел заметить, что мы едем по Садовому кольцу, и меня поразило, что совершенно пустынная улица погружена во мрак. Ночью же нас погрузили в вагон для заключенных, а утром, глядя в щелку, мы увидели, что вагон стоит невдалеке от перрона Курского вокзала. Я больше двух лет не видел людей на улице, и мне показалось, что одежда москвичей заметно изменилась.

Эти чисто внешние, даже случайные, впечатления были отзвуком более глубоких переживаний. Я не мог представить себе, как протекает жизнь моих сограждан, что их сейчас заботит больше всего. Я знал, что началась война. Но мы в тюрьме не знали, как разворачиваются военные действия, как отразились первые месяцы войны на жизни населения, на жизни в столице, какие трудности и лишения принесла война. Мы не

предполагали, что война обрушилась на всю страну, и никак не ожидали, что совсем скоро увидим зарево войны над нашей тюрьмой.

Под вечер нам пришлось пережить взаперти, в тюрьме на колесах, страшные часы воздушной бомбежки. Вокзал опустел. Люди разбежались, чтобы укрыться в бомбоубежищах. Никаких поездных составов вблизи не было. На рельсах одиноко стоял только вагон с заключенными. Конвоиры вышли на площадку вагона, готовясь выскочить из вагона, если приблизится бомбежка. Мы же, взаперти, вслушивались в отзвуки разрывов бомб и к залпам зениток, находившихся где-то поблизости. Вскоре мы заметили зарево. Каждому казалось, что от бомб и пожаров пострадал именно тот квартал, где жила его семья. Мы думали о наших семьях в ожидании собственной гибели. Ведь никто из нас не уцелел бы, если бы бомба попала в вагон. Входную дверь заперли снаружи, окна были зарешечены, и каждое купе отделено от коридора железной решеткой, которую открыть изнутри было невозможно.

Когда прозвучал отбой тревоги и миновала непосредственная опасность, мы не сразу пришли в себя. Мы продолжали сидеть молча. Мы остались живы, но нам открылось, в какой степени мы, и выйдя из тюрьмы, отрешены от общества. Нам не дано вместе со всеми бороться против врага, мы не можем разделить общие опасности, мы изолированы от людей и в жизни и в смерти. Ни в чем неповинные люди — отверженные. Мы снова остро ощутили это через несколько суток, когда поезд остановился на станции Котельничи. Поезд

стоял не на подъездных путях, а у станционного перрона. Перед нашим вагоном собралась толпа. Видимо, распространились слухи, будто в вагоне везут шпионов. Толпа бушевала под окнами нашего вагона, готова была ворваться в вагон и растерзать нас.

Года через два один из моих попутчиков по этапу из Москвы спросил меня в лагере, не запомнил ли я наружность той женщины, которая на станции Котельничи, стоя у самого вагона, угрожала расправой нам, мнимым "пособникам фашизма". Я действительно помнил, что в первых рядах бушевавшей толпы стояла взволнованная, на вид интеллигентная женщина. "Так вот, — сказал мой собеседник, — вчера я встретил ее на соседнем лагпункте. Ее недавно загребли, и, попав в лагерь, она быстро поняла, что тогда в вагоне были такие же невинные люди, как и она..."

Описанный выше случай на станции Котельничи — единственный известный мне эпизод, когда могло показаться, что организаторам массового террора удалось посеять рознь в народе, восстановить против жертв репрессий не отдельные слои населения, а народную массу. Нет! Коллючая проволока не разделила народ на две друг другу чуждые, противостоящие части.

* * *

Советское общество не разделено по вертикали, несмотря на то, что в стране существует одна огромная партия, объединяющая сверху донизу несколько миллионов человек. Как правило, ни

на одном уровне и ни в каких организациях члены партии в этом своем качестве и не противостоят, и не близки другим жителям страны. Конечно, нет никакого "блока коммунистов и беспартийных". Теперь отношение к отдельным членам партии определяется их местом в иерархии, а отношение к партии в целом есть одновременно отношение к государству. Партийный аппарат давно контролирует государственный или дополняется государственным аппаратом.* В партии все уровни, и высшие, на которых принимаются решения, и низшие, чисто исполнительские, — корреспондируют соответствующим уровням в государстве. "Преданный слуга государства" — персонаж, мною часто упоминаемый, — как правило, является и слугой партии. А вольномыслящий патриот, озабоченный неурядицами в государстве или возмущенный актами несправедливости, возлагает ответственность равно и на государственный и на партийный аппарат. Не случайно мне в моих рассуждениях ни разу не пришлось сопоставлять, а тем более противопоставлять, отношение к государству и отношение к партии.

Однако в советском государстве явственно сказывается размежевание по горизонтали. Я только что говорил о корреспондирующих друг другу уровнях в государственном и партийном аппарате. В стране существует привилегированная правящая прослойка. Она осознала себя как привилегированную касту. Ее существование за-

* Написано в 1975 году до конституции 1977 года, оформившей описанное положение дел (1978 г.).

метно и в государственной жизни и в быту. Касты в свою очередь состоят из различных групп. В этой связи вспоминается, что при Сталине были введены в гражданском аппарате, как в армии, звания, чины, ранги, мундиры и знаки различия. Создавалась законченная иерархическая система. Мне порой казалось, что сталинский режим уже привел к историческому перерождению, выразившемуся в образовании настоящего кастового государства.

Я здесь не вдаюсь в подробности нынешней стадии формирования иерархической системы в советском государстве. Мой рассказ относится к той его стадии, когда деятельность обычного аппарата управления была неизменно связана, переплетена с работой аппарата репрессий и когда к самому низшему уровню в обществе примыкала огромная масса лагерного населения и ссыльных.

Можно, конечно, сказать, что лагерники не были даже низшей кастой в обществе, они были изъяты из общества. К тому же это были люди, обреченные на вымирание и, во всяком случае, на деградацию. Как общее правило, лагерника можно было и по внешнему виду отличить от других жителей страны. Однако лагерная система в целом и в отдельных своих частях была неисчислимыми узами — экономическими, организационными узами — связана с жизнью страны. Поэтому лагерные рабы фактически не обретались где-то вне общества, а составляли его часть как особенно замученная униженная низшая каста. Если лагерники соприкасались, например, на производстве, а ссыльные на производстве и в быту с

”вольным” населением, то к ним могли относиться недоверчиво или недоброжелательно не потому, что они числились преступниками, а потому, что расслоение общества сказывалось на социальной психологии, порождало заносчивость по отношению к более зависимым людям и подхалимство перед лицами, пользующимися привилегиями.

Вместе с тем лагерная система с ее крайними формами бесправия и жестокого произвола заражала своим тлетворным духом все общество. Достаточно того, что на одних и тех же предприятиях работали рядом обычные рабочие и лагерные работяги. Это отражалось на общем стиле управления производством. Я наблюдал в ссылке местных командиров производства, а также посещавших нас областных и министерских деятелей. По их методам администрирования, по их обращению с подчиненными, в том числе и с вольными специалистами, по тому, как они распоряжались рабочими, не только ссылными, — по всему было видно, что они не знают иных способов управления производством, нежели те, которые применялись в системе лагерей. Эти администраторы иногда бывали неплохими знатоками дела, но они просто не умели и не были бы способны руководить коллективом действительно свободных людей, знающих и законы и свои права.

В местах ссылки был в обиходе совершенно официально термин ”контингент”. Когда на улицах поселка появлялись новые ссылные, в рудоправлении говорили: ”Прибыл новый контин-

гент". Жена одного инженера, аттестованного в соответствующем ранге, при нас спросила коменданта: "Нет ли в новом контингенте женщины, которая годится в домашние работницы? Но не присылайте молодых, вы ведь знаете моего мужа".

Иногда причисляли к "контингенту" и членов семьи ссыльного. Однажды, когда солдаты из комендатуры обходили бараки ссыльных, жившая там временно москвичка отказалась отвечать на их вопросы, ссылаясь на то, что она жительница Москвы. "Все равно, здесь все наши люди", — отвечал комендант. Это не пустые слова. В 1951 и в 1952 году серьезно поговаривали о том, что членов семей ссыльных, живущих в поселке, закрепят там навсегда. Так могло сформироваться подлинное кастовое общество.

Когда незадолго до реабилитации я работал в качестве плановика в отделе капитального строительства, я обнаружил, что и в служебных бумагах постоянно фигурирует термин "контингент". Им пользовались не только в статистических сводках о рабочей силе и о составе инженерно-технических работников. В докладах и отчетах, посылавшихся в министерство, отставание в выполнении плана или неполадки оправдывались тем, что на производстве преобладает "особый контингент". Это были не просто лживые отговорки, но грубое, злостное извращение действительного положения, клевета на ссыльных инженеров, техников, рабочих. "Контингент" был ведущей силой на всех участках производства; ссыльные инженеры перестроили работу, внесли

много новшеств, ссыльные рабочие ставили рекорды в добыче руды, перевыполняли план на фабрике, ссыльные врачи и сестры наладили медицинскую помощь; даже клубная самодеятельность оживилась под влиянием ссыльных.

Тем не менее, они оставались "контингентом", низшей кастой. В самой этой касте тоже были различные категории. Они определялись прежде всего тюремным, лагерным формуляром. Успехи в производственной деятельности лишь иногда и частично сказывались на положении человека в иерархии. Моя принадлежность к низшей касте на протяжении полутора десятка лет определялась ответом на вопрос, который задавался на всех вахтах и во всех комендатурах: "Статья? Срок?" -- "Пятьдесят восьмая, десять лет".

Только один раз к концу моего лагерного срока, в 1948 году начальник лагерного пункта ("Селянка", Усольлаг) капитан Кончев обратил внимание на то, что в приговоре по моему делу нет ни одной прямой статьи, что я осужден лишь за "соучастие". Капитан поручил мне (несмотря на мой категорический отказ) заведывание столовой в лагерном совхозе. Но вскоре "оперчесткинский отдел" отменил распоряжение начальника лагпункта. Так случилось не раз за годы моего пребывания в лагерях. Если мне поручали работу, требовавшую некоторой квалификации или на которой начальству в виде исключения нужен был честный человек, то очень скоро давалась команда перевести меня обратно на общие работы. Я был на плохом счету у высшей лагерной администрации, в особенности у "специалистов по бдительности".

Кончев рассказал мне (с глазу на глаз) об своем разговоре с начальником Усольлага полковником Тарасюком. Объясняя, почему он проявил ко мне внимание, Кончев сказал, что я осужден только по подозрению в соучастии. Полковник отвечал:

— Представьте себе, капитан, что вас пытаются зарезать, а Гнедин только держит вас за руки. Разве поэтому он менее опасен?

Разумеется, после такого разъяснения меня надлежало отправить на полевые работы.

* * *

Еще в разгар сталинского террора начальник одного из бесчисленных лагпунктов, ознакомившись с приговором по моему делу, решился сказать, что я не совершал никаких преступлений. Но этого не признал даже после смерти Сталина генеральный прокурор СССР Руденко. В 1953 году я из Казахстана, а жена в Москве отправили в несколько правительственных инстанций заявления, в которых, подробно изложив мое дело, доказывали, что приговор должен быть отменен. В том году я получил ответ только на одно свое заявление. Но какой ответ! Уже после смерти диктатора и после того как были осуждены Берия, Кобулов, Деканозов (все трое были организаторами моего ареста, следствия и осуждения) — я получил от Главной Военной прокуратуры письмо от 10 октября 1953 года, где сказано: "Дело, по которому вы были осуждены, проверялось прокуратурой, при этом было установлено,

что оснований для отмены или изменения приговора не имеется". Письмо подписал заместитель начальника ГВП полковник Чадеев. Вероятно, полковник опасался, как бы ему в новых условиях не пришлось ответить за лживую отписку. Поэтому он — получив на это санкцию — добавил многозначительную фразу: "Ваша жалоба с ходатайством о пересмотре приговора по делу рассмотрена лично генеральным прокурором СССР и оставлена без удовлетворения".

Этот полковник юстиции занимал очень высокий пост. Но я готов допустить, что в моем деле он играл роль чиновника, действующего по приказу свыше. Кто же осенью 1953 года решал мою судьбу, сменил в моем деле Берию? Судя по тексту письма это был, как прямо и сказано: лично генеральный прокурор Руденко, поныне занимающий этот пост. Но и он, возможно, был исполнителем чьих-то предначертаний. Чьих же? Так вот: отказ в реабилитации, мотивированный с бесстыдством худших сталинских времен, был ответом на заявление, адресованное мною Молотову. В письме прокуратуры имелось на это точное указание. Адвокат, с которым советовалась моя жена, сказал, что было ошибкой обращаться к Молотову, хотя мы одновременно обратились в разные инстанции. К Молотову не следовало обращаться, потому что в 1953 году именно он еще был способен предложить генеральному прокурору отказать мне в реабилитации. Молотов, казалось, не был исполнителем чужой воли. Разве что тень диктатора благословила Молотова и Руденко на новые беззакония?

Наглое письмо Главной Военной прокуратуры меня потрясло. Неужели надежды, возникшие после смерти Сталина, были напрасны? Неужели в стране ничего не изменилось? Я снова был близок к отчаянью. В последний раз за годы изгнания. Характер полученного мною письма прокуратуры наводил на мысль, что вступать с ней в спор ненадежно и даже опасно, как это и было раньше. Все же я направил тому же Руденко заявление, написанное в резком тоне. Я уже не касался самого дела, я обстоятельно доказывал, что мотивировка отказа — лжива. Утверждение, будто дело проверялось, — явная ложь. На это мое категорическое письмо от 1 декабря 1953 года я не получил ответа.

Вероятно, мне пришлось бы ждать ответа вплоть до 20-го съезда КПСС, а то и дольше, если бы не энергичные неустанные хлопоты моей жены. С 1954 года, когда повеяло переменами, она не переставала добиваться моей реабилитации. Ее ходатайство поддержал И.Г. Эренбург. Жена систематически ходила в Военную прокуратуру; туда уже пришли из армии новые "хрущевские люди". Иногда жене в служебном кабинете выражали сочувствие, правда, в иносказательной форме. Так, однажды, в очередной раз принимая мою жену, начальник приемной прокуратуры сказал, пожимая плечами:

-- Ну, что же я могу?... Вы же сами видите ... !-- И полковник показал рукой в окно, выходившее на глухую стену следственной части прокуратуры ...

Но вот через полтора года хождений в Военную прокуратуру, в Верховный суд, посещения приемной Центрального комитета, наступил день, наконец, когда жена услышала от молодого сотрудника Верховного суда:

— За углом — телеграф, вот номер дела, телеграфируйте мужу, что приговор отменен!

НА ПОРОГЕ

В октябре 1955 года я вернулся в Москву. Вера в возможность моего счастливого возрождения для новой жизни оправдалась в кругу семьи и друзей. А весной 1956 года казалось, что вся страна — на пороге новой жизни. На деле это был вход в новый лабиринт средств и целей.

Тяжко думать теперь, когда я завершаю работу над "Записками", что по-прежнему злободневны многие горькие замечания, сделанные в разное время на протяжении более десятка лет. Таковы высказанные еще в начале семидесятых годов (в книге "Катастрофа и второе рождение") соображения о бремени сталинского наследства, от которого государство еще не освободилось; более того, к концу семидесятых годов это гнетущее бремя стало еще более ощутительным. Подмена средств и целей возведена в систему. Акты беззаконий, циничные судебные расправы по-прежнему остаются кровоточащей раной нашего общества.

Пожалуй, звучат злободневно слова Герцена: "Консерватизм, не имеющий иной цели, кроме сохранения статус кво, так же разрушителен, как

и реакция. Он уничтожает старый порядок не жарким огнем гнева, а на медленном огне ма-разма”*.^{*}

Я прибавил бы к слову консерватизм эпитет — бюрократический...

Моя книга и эти заключительные очерки по форме посвящены пережитому и продуманному в тюрьмах и в лагерях. Но по существу мои "Записки" — исповедь. В "Записках" повествуется о проблемах, надеждах, но и ошибках, иллюзиях, относящихся к различным периодам моей жизни и жизни страны. Я оценивал события с позиций сегодняшнего дня, но одновременно стремился отразить взгляды мои и моих сверстников, какими они были в то время, о котором я пишу.

Мои усилия по возможности объективно и критически анализировать эволюцию страны и людей, а также мои признания в том, что даже в страшные годы я не полностью изжил иллюзии, — все это может вызвать у некоторых современных умудренных читателей критические, даже саркастические, замечания. Я считался с такой возможностью. Мой ответ на эту критику — моя книга в целом.

Во всяком случае я счел бы отрядным, если бы в стране было побольше людей, отвергающих самообман насчет подлинных черт господствующей идеологии и форм государственного управления. Это — признак того, что страна найдет выход из лабиринта средств и целей.

* А.И. Герцен. О развитии революционных идей в России. Сочинения, изд. 1956 г., т. 3, стр. 565.

Многое ввергает в тревогу, но кое-что внушает надежду. Наблюдается процесс, предпосылки и последствия которого еще неясны, он требует продумывания. Государство, государственный аппарат -- с одной стороны, и общество -- с другой, претерпевают эволюцию в противоположных направлениях. Партийно-государственный аппарат, опирающийся на конституцию 1977 года, приобретает все новые склеротические черты, между тем общество постепенно оживает, становится плюралистическим. Наблюдаются и зачатки еще незрелого политического плюрализма, но я имею в виду прежде всего разнообразие в мировосприятии, в мировоззренческих концепциях. Брожение в обществе при отсутствии гласности не означает, что исчезла обывательская инерция, инерция покорности начальству. Тем не менее, идейное и духовное многообразие -- пусть еще в скрытых формах -- есть проявление поисков выхода из лабиринта.

В этих условиях решающее значение имеет противостояние личности произволу и несправедливости. По сути это -- тема моей книги. К настоящему времени применимы высказанные в книге мысли об условиях сохранения человеческого достоинства, о преодолении отчаянья, о путях духовного обновления.

Обществу, несомненно, придется в обозримом будущем преодолеть новый исторический рубеж. Источник осторожного оптимизма -- в том, что в обществе пробивает себе путь глубокий процесс накопления духовной энергии и подлинных культурных ценностей. Исподволь закладываются

предпосылки для того, чтобы будущие катастрофические перемены завершились возрождением личности и общества.

Суждено ли мне постичь, что таится там, по другую сторону порога?...

Июнь 1978 г.

CHALIDZE PUBLICATIONS

505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена -- 7.00

Коран. Перевод Крачковского, карманный формат, цена -- 20.00

Ответственность поколения, цена -- 8.00

Интервью В. Чалидзе с Татьяной Литвиной, Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Мстиславом Ростроповичем и другими.

Георгий Федотов. Россия и свобода, цена -- 15.00

О. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире, цена -- 12.00

Проблемы Восточной Европы, ред. Франтишек и Лариса Силницкие цена выпуска -- 9.00

Л. Конелев. На крутых поворотах короткой дороги. Цена 7.00

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Цена 7.00

В. Буковский. Письма русского путешественника. Цена 12.00

Солженицын в Гарварде. Пер. с английского. Цена 15.00

И. Яхот. Подавление философии в СССР (20-30 гг.) Цена 15.00

Б. Рассел. История Западной философии. — 30.00

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Цена 15.00

П. Кушников. Армейский дневник 1917 года. Цена 10.00

Законодательство о религиозных культах в СССР. Цена 9.00

Р. Орлова. Последний год жизни Герцена. — 6.00

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. — 8.00

З. Фрейд. Толкование сновидений. — 15.00

Грузинская кухня. Цена 6.00

Русскоязычный Нью-Йорк — 1982. Цена 1.00

Александр Дюма. Ожерелье королевы. — 9.50

Добавьте 50 центов за пересылку каждой книги.

Заказы направляйте по адресу:

CHALIDZE PUBLICATIONS

505 Eighth Avenue

New York, N.Y. 10018